



HAL
open science

Африканский Дневник Николая Степановича Гумилёва Перевод и исследование перевода

Alexandra Bovio

► **To cite this version:**

Alexandra Bovio. Африканский Дневник Николая Степановича Гумилёва Перевод и исследование перевода. Literature. 2012. <dumas-00930914>

HAL Id: dumas-00930914

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00930914>

Submitted on 14 Jan 2014

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Université Stendhal Grenoble 3
UFR de Langues étrangères

Master recherche
Mention Langues littératures et civilisations étrangères
Spécialité Études slaves

« Le Journal Africain » de Nicolaï Goumilev

Traduction du russe au français et étude traductologique

« Африканский Дневник » Николая Степановича Гумилёва

Перевод и исследование перевода



(Antonio Abrignani, Shutterstock.com)

Sous la direction de Mme Després

В рамках реализации моей дипломной работы, я хотела бы поблагодарить всех людей, которые мне оказали поддержку и помощь, для составления этой работы:

Госпожа Дебре, исследовательский директор, которая меня ориентировала по теме и облегчила мою непринужденность в области перевода.

Господин Матюшин, преподаватель перевода в МГЛУ в Москве, благодарна ему за советы в переводе и помощь во время моего пребывания в России.

Мои преподаватели, за уроки и всё, чтобы я изучила благодаря им, во Франции а также в России.

Моя киргизская подруга, за советы и правки, которые мне очень помогли.

Мои близкие друзья, за объяснения о культуре восточной Африки, и поощрения для осуществления этой дипломной работы.

Мой друг, за поддержку и поощрения.

Мой отец, за поддержку и терпение.

Наконец, большое спасибо моей матери, так как, даже если она умерла, она верила в меня более, чем кто-либо и меня всегда безоговорочно поддерживала. Я посвящаю ей свою работу, так как я знаю, насколько она гордилась своей дочерью.

Table des matières

Общее введение	4
Перевод	7
CHAPITRE PREMIER.....	7
CHAPITRE SECOND.....	19
CHANSON	22
CHAPITRE TROISIEME.....	31
CHAPITRE QUATRIEME	43
Николай Степанович Гумилёв	46
1 — <u>Когда повседневная жизнь становится поэзией</u>	47
1.1 Первая поездка по Африке.....	47
1.2 Вторая поездка по Африке	48
2 — <u>Николай Гумилёв, поэт с двумя большими любовями.</u>	48
2.1 Его брак с Анной Ахматовой	48
2.2 ... менее силен, чем его страсть к Африке.....	48
2.3 Появление нового художественного течения	49
3 — <u>Последняя поездка по Африке</u>	49
3.1 «Африканский дневник»	50
3.2 Арест и гибель поэта.....	51
Исследование перевода	53
1.1 Реки, озёра и горы.....	54
1.2 Города.....	54
2 — <u>Имени собственные и титулы</u>	55
2.1 Имени собственные.....	55
2.2 Титулы	57
Общее заключение	59
Библиография	62
Африканский дневник	64

Общее введение

« Языки, это - будущее »; в моей голове часто раздавалась эта фраза. Верно, что языки нам позволяют открыться миру, понимать друг друга. Но у всех есть возможность знать ещё несколько языков кроме своего родного языка, и выучить все языки невозможно. В этом-то и заключается задача переводчика, не только переводить текст или рассказ, но и также передавать мысли авторов, а так же их чувства и, таким образом, открыть другим людям мир литературы.

Кроме того, литературный перевод касается нас всех, не обязательно в качестве производителя, но по крайней мере в качестве потребителя. А для переводчика это - страсть. Действительно, очень трудно жить только литературными переводами, кроме если переводчик уже признан в этой области. Для этого, лучше всего, чтобы переводчик оставался невидимым, чтобы он заставил о себе забыть, как если бы читатель имел прямой доступ к оригиналу. Это и отличает литературный перевод от других. В других действительно, цель состоит в том, чтобы передать смысл текста. Что касается литературного перевода, надо передать не только смысл текста, ведь это само собой разумеется, но также оставаться как можно ближе к оригиналу для того, чтобы как можно лучше передать стиль автора. И каждый человек чувствует текст по разному, поэтому не бывает двух одинаковых переводов одного текста. Вот почему я выбрала оригинальный текст, который не был переведён на французский язык, и вместо того, чтобы сравнить мой перевод с переводом другого переводчика, я напрямую предлагаю свой, и кто знает, возможно когда-нибудь кто-нибудь его сравнит со своим.

С самого раннего возраста я люблю языки и классическую и

современную литературу, и всегда хотела стать переводчицей. Я особенно люблю поэзию русского автора Николая Степанович Гумилева, который много писал о своих поездках по Африке, а этот континент меня давно увлекает. Про Гумилёва я знаю о его поэтических произведениях на французском и на русском языке, но я не знала, что он написал рассказы. Итак, во время моего пребывания в Москве я случайно нашла книгу "Африканская охота", которая объединяет семнадцать из его рассказов об Африке. Эти рассказы как правило не переведены на французский язык, поэтому я решила перевести одну из них, "Африканский дневник". Этот рассказ сразу же задержал все мое внимание, так как поэт описывает поездку, которую он осуществил за счёт Академии Наук России, пересекая восточную Африку и в нём он описывает пейзажи, которые представляются воображению читателя великолепными.

С другой стороны, этот рассказ, мне казалось, неплохо соответствует типу работы, требуемой для дипломной работы, так как диплом готовит научных сотрудников по специальности славянские исследования, а перевод этого рассказа является именно реальным исследовательским трудом, так как не просто переводить рассказ о восточной Африке, ведь этот регион Африки не очень известен в конечном счёте в отличие от западной Африки, тем более в то время, когда Гумилёв осуществил эту поездку, в 1913-ом году.

Чтобы действительно хорошо перевести текст, надо как следует знать автора, идентифицироваться ему, а также надо, чтобы в переводчике жил дух автора. Можно конечно перевести текст автора, которого особенно не любишь, но этот перевод не будет хорошим переводом. Куандро¹ сказал: « переводчик должен знать о своих ограничениях и не приниматься за труды, что он сам не мог — или более точно, не хотел бы писать.

¹ Морис-Эдгар Куандро (1892 — 1990), признанный французский переводчик

Переводить — акт любви и сотрудничества. »

Другое важное условие для хорошего перевода, это необходимо владеть в совершенстве языком, на который переводишь. Это — причина, по которой обычно наилучший переводчик — тот, кто переводит с иностранного языка на родной язык, а не тот, кто переводит с родного языка на иностранный язык.

Моя дипломная работа состоит из трех частей. Сначала я предлагаю свой перевод текста "Африканский дневник" на французский язык. Затем вторая часть посвящена автору и его страсти к африканскому континенту, который он питал всю свою жизнь. И наконец в последней части я представлю затруднения, с которыми я встретилась в переводе, и каким образом я пыталась с ними справиться.

Перевод

Journal Africain

N. S. Goumilev

CHAPITRE PREMIER

Un jour de Décembre de l'année 1912, je me trouvais dans une de ces charmantes petites pièces, encombrées de livres, à l'Université de Saint-Pétersbourg, dans laquelle des étudiants de tous niveaux, et parfois aussi des professeurs, buvaient du thé en se moquant quelque peu des spécialités des uns et des autres. J'attendais un célèbre égyptologue, à qui j'avais moi-même rapporté, en cadeau d'un précédent voyage, un diptyque abyssin : la Vierge Marie portant un nourrisson d'un côté, et un Saint avec un membre coupé de l'autre. Dans cette petite réunion, mon diptyque eut un succès médiocre : un auteur classique parla de son anti valeur artistique, un grand connaisseur de la Renaissance de l'influence européenne qui le dévalorisait, un ethnographe de sa préférence pour l'art des peuples autochtones de Sibérie. Ils s'intéressaient beaucoup plus à mes voyages, me posant des questions habituelles dans ce genre de situation : y a-t-il beaucoup de lions, les hyènes sont-elles dangereuses, quelle est la réaction des voyageurs en cas d'attaque des Abyssins. J'avais beau assurer qu'il fallait chercher les lions durant des semaines, que les hyènes étaient plus peureuses que des lièvres, que les Abyssins respectaient la loi à la lettre et qu'ils n'avaient jamais attaqué personne, mais je me rendis compte qu'ils ne me croyaient pas vraiment. Il semblait plus difficile de briser une légende que d'en créer une.

À la fin de mon récit, le professeur G me demanda si j'avais déjà fait le récit de mon voyage à l'Académie des Sciences. Je m'imaginai tout de suite ce colossal bâtiment blanc avec ses préaux, ses escaliers, ses passages étroits et toute une forteresse qui protégeait la science officielle contre le monde extérieur ; les appariteurs galonnés cherchant à savoir qui précisément je venais voir ; et enfin le visage froid de la secrétaire de service, annonçant que l'Académie ne s'intéressait pas aux travaux privés, qu'elle avait des chercheurs, ainsi que d'autres phrases tout aussi décourageantes. En outre, en tant qu'homme de lettres, j'étais habitué à considérer les académiciens comme des anciens ennemis. Bien entendu, je fis état d'une partie de mes réflexions, dans une forme adoucie, au professeur G. Cependant, à peine d'une demi-heure après, je me retrouvai, une lettre de recommandations dans les mains, dans un escalier de pierre en colimaçon devant la porte de la réception d'un des maîtres des destins académiques.

Dès lors, cinq mois passèrent. Durant ce temps, je fréquentai beaucoup les escaliers internes et les cabinets spacieux et encombrés par des collections pas encore étudiées, les greniers et les sous-sols des musées de cet immense bâtiment blanc sur la Néva. Je rencontrai des chercheurs dont on aurait dit qu'ils venaient de sortir des pages d'un roman de Jules Verne, et aussi qui parlaient, les yeux brillant d'enthousiasme de pucerons et coccidae, et aussi dont le rêve était de se procurer la peau d'un chien sauvage rouge qu'on trouvait en Afrique centrale, et aussi qui, tel Baudelaire, étaient prêts à croire en une véritable divinité dans des petites idoles faites de bois et d'ivoire. Et quasiment partout l'accueil que l'on me réservait frappait par sa simplicité et sa cordialité. Les princes de la science officielle, tels de véritables princes, se trouvaient être bien intentionnés et bienveillants.

J'ai un rêve, viable malgré toute la difficulté de sa réalisation. Parcourir du sud au nord le désert Danakil situé entre l'Abyssinie et la mer Rouge, explorer le cours inférieur de la rivière Awash, apprendre à connaître des tribus dispersées là-bas, inconnues et mystérieuses. Nominale, elles se trouvent sous l'autorité du gouvernement abyssinien, mais en réalité elles sont libres. Et puisqu'elles font toutes parties d'une des tribus danakiliennes, assez habile bien que très violente, il est possible de les unir, et après avoir trouvé un débouché sur la mer, les civiliser ou au moins les arabiser. Dans la famille des peuples, un confrère s'ajoute encore. Et il possédait un débouché sur la mer. C'était Rageita, un petit sultanat indépendant, vers le nord de la région d'Obosk. Un coureur d'aventures russe (ils n'étaient pas moins en Russie qu'ailleurs) l'avait acquis pour le gouvernement russe. Mais notre Ministère des affaires étrangères le refusa.

Mon itinéraire ne fut pas accepté par l'Académie. Il coûtait trop cher. Je me résignai à ce refus, et présentai un autre itinéraire, qui fut accepté après quelques délibérations par le Musée d'anthropologie et d'ethnographie à l'Académie Impériale des Sciences.

Je devais partir pour le port de Djibouti² dans le détroit de Bab-el-Mandeb, et de là prendre le train jusqu'à Harar. Ensuite, après avoir rassemblé une caravane dans le sud de la région qui se trouve entre la Corne de l'Afrique et les lacs Rudolf, Margherita et Haïk ; il était possible de couvrir une large zone de recherches ; faire des photographies, recueillir des collections ethnographiques, prendre note des chansons et légendes. De plus, on me réserva le droit de recueillir des collections zoologiques.

2 État sur le nord-est de l'Afrique, dont la capitale homonyme

Je demandai l'autorisation d'emmener un assistant avec moi, et mon choix s'arrêta sur mon neveu I. L. Svertchkov, une jeune personne qui aimait la chasse et les sciences naturelles. Il se distinguait à tel point par son caractère accommodant qu'il prenait déjà, dans un désir de sauvegarder la paix, le chemin de toutes sortes de difficultés et de dangers.

Les préparatifs pour le voyage occupèrent un mois de dur labeur. Il fallut se procurer une tente, des fusils de chasse, des selles, des sacs, des attestations, des lettres de recommandation, etc etc.

J'étais si exténué que je passai toute la journée de la veille du départ au lit et fiévreux. Décidément, les préparatifs pour le voyage étaient plus fatigants que le voyage lui-même.

Le 7 avril nous partîmes de Saint-Pétersbourg, le 9 avril au matin nous étions à Odessa.

Odessa produit une étrange impression sur les habitants du Nord. Comme si c'était une ville étrangère, russifiée par un administrateur diligent. Des immenses cafés remplis de démarcheurs élégants mais suspects. La promenade nocturne sur la rue Deribasovskaïa qui rappelle à cette heure le boulevard Saint Michel à Paris. Et le patois, ce patois spécifique d'Odessa, avec ses accents changeants, son emploi incorrecte des cas, et ses mots nouveaux et opposés. Il semble que dans ce patois, la psychologie d'Odessa se fait plus clairement sentir, sa foi enfantine et naïve en la toute-puissance de l'artifice, sa soif extatique de succès. À l'imprimerie dans laquelle j'imprimai mes cartes de visite, le dernier numéro du journal d'Odessa, imprimé sur place le soir, me tomba sous les yeux.

Après l'avoir déplié, je vis un poème de Sergueï Gorodetsky dont seulement une ligne était modifiée, et imprimé sans signature. Le gérant de l'imprimerie m'informa que ce poème avait été apporté par un poète débutant et qu'il se l'était attribué.

Évidemment, à Odessa il y a beaucoup de personnes irréprochablement honnêtes, même au sens nordique du mot. Mais ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot. Sur le cadavre en décomposition de l'Orient étaient apparus des petits vers agiles, son avenir. Leurs noms : Port-Saïd, Smyrna et Odessa.

Le 10 Avril, à bord du bateau à vapeur de la flotte volontaire « Tambov », nous prîmes le large. Environ deux semaines auparavant, la mer Noire, dangereuse et déchaînée, était calme comme un lac. Les vagues s'ouvraient avec douceur sous la pression du vapeur, dont l'hélice imperceptible battait l'eau, comme le cœur d'une personne qui travaille. On ne voyait pas l'écume, mais seulement s'enfuir de l'eau dérangée une bande couleur vert-pâle ressemblant à la malachite. Un banc de dauphins nageait à proximité du vapeur, tantôt le devançait, tantôt restait en arrière, et de temps en temps, comme prit d'une impétueuse attaque de joie, sautait en laissant apparaître leur dos mouillé luisant. La nuit tombait, la première sur la mer, sacrée. Des étoiles, jusqu'alors invisibles, brillaient depuis longtemps, et le bouillonnement de l'eau se faisait plus audible. Est-il possible que des gens n'aient jamais vu la mer ?

Le 12 Avril au matin, nous arrivâmes à Constantinople. Derechef, celle-ci n'est jamais lassante, malgré la beauté décorative et ostentatoire du détroit de Bosphore, des golfes, des bateaux à voile latine blanche, sur lesquels des Turcs d'humeur joyeuse rient les dents au vent, des maisons collées le long du littoral et entourées de cyprès et de lilas florissants, des créneaux et des tours des anciennes forteresses, et le soleil si particulier de Constantinople, radieux et non ardent.

Nous passâmes devant l'escadre des puissances européennes, introduite dans le détroit de Bosphore en cas de troubles. Immobile et grise, elle menaçait d'un air stupide la ville bruyante et colorée. Il était huit heures, l'heure de jouer l'hymne national. Nous entendîmes l'anglais résonner calmement et fièrement, le russe pieusement et l'espagnol de manière si festive et admirable, comme si toute cette nation se composait de jeunes gens de vingt ans, réunis pour danser.

Dès que l'ancre fut jetée, nous prîmes place dans un rafirot turc et nous rendîmes vers le rivage, sans dédaigner le plaisir, habituel dans le détroit de Bosphore, de se retrouver dans la vague laissée par un bateau à vapeur qui venait de passer, et de se balancer à une allure folle durant quelques secondes. En Galatie, la partie grecque de la ville où nous accostâmes, régnait une habituelle animation. Mais aussitôt après avoir traversé le large pont en bois qui passait au-dessus de la Corne d'Or et nous être retrouvés à Istanbul, nous fûmes frappés par un silence peu habituel et l'abandon. Beaucoup de magasins étaient fermés, les cafés étaient vides, et dehors il n'y avait quasiment que des vieillards et des enfants. Les hommes étaient à Çatalca. On venait d'apprendre la nouvelle à propos du soulèvement de Shkodër. La Turquie l'accepta avec le même calme qu'une bête traquée et blessée accuserait un nouveau coup.

À travers des rues étroites et poussiéreuses entourées de maisons silencieuses, dans lesquelles on imaginait fontaines, roses et belles femmes comme dans « Les milles et une nuit », nous arrivâmes à Sainte Sophie. Dans la cour ombragée qui l'entourait, des enfants à demi-nus jouaient, et quelques derviches, assis près du mur, étaient plongés dans la contemplation.

Contrairement à d'habitude, on ne voyait pas un seul Européen.

Nous rabattîmes la natte accrochée aux portes et entrâmes dans le couloir frais et à moitié obscur encerclant le temple. Un gardien à l'air lugubre nous fit chausser des souliers en cuir, pour ne pas profaner les Saints de ce lieu avec nos pieds. Nous passâmes encore une porte, et devant nous se trouvait le cœur de Byzance. Pas de colonnes, pas d'escaliers ni de niches, cette allégresse facilement accessible des temples gothiques, mais seulement l'espace et son harmonie. Comme si l'architecte s'était donné pour but de sculpter l'air. L'infiltration de la lumière rendait les quarante fenêtres sous la coupole, d'argent. Des étroits trumeaux soutenaient la coupole, donnant l'impression qu'elle était extraordinairement légère. Des tapis mous assourdisaient nos pas. Sur les murs on distinguait encore les ombres effacées des anges turcs. Un petit Turc aux cheveux blancs, portant un turban vert, erra un moment autour de nous de manière obstinée. Il devait nous surveiller, pour que nous ne perdions pas avec les souliers. Il nous montra une entaille dans un mur, faite par l'épée du sultan Mehmet II; la trace de sa main était humectée de sang; le mur dans lequel, selon la légende, entra un patriarche aux saintes offrandes à l'apparition des Turcs. Son explication devint ennuyante, et nous sortîmes. Nous payâmes pour les souliers, payâmes le guide que nous n'avions pas désiré, et j'insistai pour retourner au vapeur.

Je ne suis pas un touriste. Pour quelle raison devrais-je, après la visite de Sainte Sophie, me rendre dans un bazar bouillonnant, avec ses tentations de soie et de grains de verre, ses coquettes plumes, et même ses incomparables cyprès du cimetière Soulemanie. Je vais en Afrique et j'ai lu « Notre Père » dans le plus sacré des temples. Quelques années auparavant, aussi sur le chemin pour l'Abyssinie, je jetai un Louis d'or dans la fissure du temple « Pallas Athéna » à Acropolis, et je crus qu'une déesse m'accompagnerait de manière invisible. À présent j'avais pris de l'âge.

À Constantinople, un nouveau passager se joignit à nous. Il s'agissait du consul turc qui venait d'être nommé à Harar. Nous nous entretînmes longuement à propos de littérature turque, des coutumes abyssiniennes, mais plus que tout à propos de politique étrangère. C'était un diplomate bien inexpérimenté et un grand rêveur. Nous tombâmes d'accord pour proposer au gouvernement turc d'envoyer un instructeur dans la Corne d'Afrique pour y former une armée irrégulière de musulmans du pays. Elle aurait pu servir pour la répression des Arabes du Yémen qui s'insurgent sans cesse, d'autant plus que les Turcs avaient du mal à supporter la chaleur d'Arabie.

Deux, trois autres projets de ce genre et nous étions à Port-Saïd. Là-bas, une déception nous attendait. Il s'avéra qu'il y avait le choléra à Constantinople, et tout contact avec la ville nous était interdit. Les Arabes nous apportèrent des provisions, qu'ils nous remirent sans monter à bord, et nous entrâmes dans le canal de Suez.

Tout le monde ne peut pas s'éprendre du canal de Suez, mais celui qui s'en éprend l'aimera pour un long moment. Cette étroite bande d'eau immobile possède un charme mélancolique tout à fait particulier.

D'un côté, le rivage africain, où sont éparpillées des maisonnettes d'Européens, couvertes de mimosas courbés avec de la verdure étrangement bistre, comme après un incendie, et des bananiers nains et trapus ; de l'autre, le rivage asiatique, et ses vagues de sable roux-cendré et brûlant. Une chaîne de chameaux passe lentement en sonnant des clochettes. De temps en temps, une bête, un chien peut-être, une hyène ou un chacal se montre, regarde avec méfiance et s'enfuit. Des grands oiseaux blancs tournent en cercle au-dessus de l'eau ou se posent sur une cheminée pour se reposer. Çà et là, des Arabes à demi-nus, des derviches ou des sans-le-sou, qui n'ont pas trouvé de place dans les villes, sont assis au bord de l'eau et la contemplent sans détacher leur regard, comme s'ils s'essayaient à la magie. Devant et derrière nous, d'autres bateaux à vapeur avancent. La nuit, quand les phares s'allument, on dirait un convoi funèbre. Il leur arrive souvent de s'arrêter afin de laisser passer un bateau en sens inverse, qui va lentement et silencieusement, comme une personne préoccupée. Ces heures calmes sur le canal de Suez apaisent et bercent l'âme, pour qu'ensuite elle soit prise au dépourvu par le charme violent de la mer Rouge.

Elle est la plus chaude de toutes les mers, et représente un tableau à la fois terrible et magnifique. L'eau, tel un miroir, reflète les rayons presque verticaux du soleil, comme de l'argent fondu aux extrémités. On voit trouble et la tête nous tourne. Ici les mirages sont fréquents, et je voyais sur le rivage des bateaux brisés, trompés par les rayons. Les îles, des rochers abruptes et nus éparpillés çà et là, ressemblent à des monstres africains encore inconnus. Une tout particulièrement ressemble à un lion prêt à bondir, dont il nous semble voir la crinière et la gueule ouverte. Ces îles sont inhabitées à cause de l'absence de source d'eau. En s'approchant du bord, on pouvait voir que l'eau était bleue pâle, comme les yeux d'un assassin. De temps en temps en surgissent, faisant peur car de manière inattendue, d'étranges poissons volants.

La nuit est encore plus merveilleuse et lugubre. On dirait que la Croix du Sud pend latéralement dans le ciel, qui, comme atteint d'une divine maladie, est recouvert d'une éruption dorée d'autres étoiles innombrables. À l'occident des éclairs de chaleur jaillissent: loin en Afrique, les orages tropicaux brûlent des forêts et détruisent des villages entiers. Dans l'écume laissée par le bateau, des lueurs blanchâtres scintillent ; ce sont les fluorescences de la mer. La chaleur du jour baissa, mais il restait dans l'air une touffeur humide et désagréable. On pouvait sortir sur le pont et tomber dans un sommeil agité, rempli de cauchemars fantasques.

Nous jetâmes l'ancre avant Djedda, où on ne nous laissa pas passer, car la peste s'y était propagée. Je ne connais rien de plus beau que les hauts-fonds verts vifs de Djedda, bordés par une écume légèrement rosée. Peut-être est-ce en leur honneur que les hadjis, des musulmans qui se rendent à la Mecque, portent des turbans verts.

Pendant qu'un agent de la compagnie préparait différents papiers, le principal assistant du capitaine décida de pêcher le requin. Un immense crochet avec dix livres de viande pourrie, attaché à un solide câble, servit de ligne, un rondin en guise de flotteur. Une attente tendue dura trois heures et quelques.

Tantôt on ne voyait pas du tout de requins, tantôt ils nageaient si loin que leurs poissons-pilotes ne pouvaient pas apercevoir les hameçons.

Un requin est extrêmement myope, il est toujours escorté par deux jolis petits poissons qui le guident jusqu'à sa proie.

Enfin, dans l'eau, une ombre d'un sagène³ et demi de longueur apparut, et le flotteur, après s'être mis à tourner plusieurs fois, plongea dans l'eau. Nous tirâmes sur la corde, mais nous sortîmes seulement le crochet. Le requin avait juste mordu l'appât, mais ne l'avait pas avalé. À présent, probablement chagriné par la disparition de la viande à l'odeur appétissante, il nageait en rond quasiment à la surface de l'eau qu'il soulevait avec la queue. Les poissons-pilotes, décontenancés, tourbillonnaient ici et là. Nous nous dépêchâmes de lancer à nouveau le crochet. Le requin se jeta dessus sans plus aucune restriction. Le câble se tendit d'un coup en menaçant de s'arracher, puis il se relâcha, et sur l'eau apparut une tête toute luisante avec des petits yeux méchants. Dix matelots tirèrent le câble dans un effort. Le requin remuait avec rage, on l'entendait frapper le bord du bateau avec sa queue. L'assistant du capitaine, penché par-dessus bord, tira sur lui cinq balles de revolver. Il tressaillit et se calma un peu. Cinq trous noirs apparurent sur sa tête et sur son museau blanchâtre. Dans un nouvel effort, ils le rapprochèrent du bord. Quelqu'un le toucha derrière la tête, et il claqua des dents. Il était toujours vivant et rassemblait ses forces pour une dernière bataille. Alors, après avoir attaché un couteau à un long bâton, l'assistant du capitaine l'enfonça dans la poitrine d'un coup fort et adroit, et toujours dans un effort, porta l'entaille jusqu'à la queue. L'eau se mit à couler mélangée avec du sang. La rate rose d'environ deux archines⁴ de grandeur, le foie spongieux et les intestins glissèrent et finirent dans l'eau, telle une forme étrange de méduses. Le requin se fit d'un coup plus léger, et ils le tirèrent sans effort sur le pont. Le cuisinier de bord, armé d'une hache, se mit à lui couper la tête. Quelqu'un sortit le cœur et le jeta sur le sol. Il battait, faisant par-ci par-là des sauts de grenouille. Dans l'air il y avait une odeur de sang.

3 Un sagène fait 2,13m

4 Une archine fait 0,71m

Dans l'eau, près du bord, s'agitait un pilote abandonné. Son compagnon avait manifestement disparu, rêvant de dissimuler quelque part dans des baies lointaines l'infamie d'une trahison involontaire. Et celui-ci, fidèle jusqu'à la fin, bondissait hors de l'eau, souhaitant voir ce qu'ils faisaient avec son ami, tournait autour des entrailles qui flottaient, près desquels s'approchaient déjà d'autres requins avec des intentions très explicites, et exprimait par tous les moyens son inconsolable désespoir.

Ils coupèrent la mâchoire du requin pour cuire ses dents, et jetèrent le reste à la mer. Le coucher de soleil de ce soir-là sur les hauts-fonds verts de Djedda fut large et jaune vif avec la tache écarlate du soleil au milieu. Ensuite il prit une tendre couleur cendrée, puis verdâtre comme si la mer se reflétait dans le ciel. Nous levâmes l'ancre et partîmes droit sur la Croix du Sud. Le soir, on m'apporta trois dents blanches et crénelées du requin comme part qui me revenait. Au bout de quatre jours, après être passé par la peu accueillante Bâb-el-Mandeb, nous nous arrêtâmes près de Djibouti.

CHAPITRE SECOND

Djibouti se situe sur le rivage africain du golfe d'Aden au sud d'Obock, à l'extrémité du golfe de Tadjourah. Sur la plupart des cartes géographiques, seule Obock est marquée, mais elle a, au jour d'aujourd'hui, perdu tout intérêt. À peine un Européen obstiné y vit, et les gens de la mer affirment, non sans raison, que Djibouti l'a « mangé ». À Djibouti se trouve le futur. Son commerce ne cesse de s'accroître, et le nombre d'habitants européens aussi. Quatre années auparavant, quand j'y allai pour la première fois, ils n'étaient que trente, et à présent ils sont quatre-cent.

Mais elle parviendra définitivement à maturité lorsque la construction du chemin de fer, qui la reliera à Addis-Abeba, la capitale de l'Abyssinie, sera achevée. Alors, elle triomphera même de Massaooua, parce qu'ici, au sud de l'Abyssinie, il y a beaucoup plus d'articles d'exportation : des peaux de bœuf, du café, de l'or et de l'ivoire. Seulement, il est dommage qu'il y règne des Français, qui d'ordinaire se comportent de manière négligée envers leurs colonies, pensant qu'ils accomplissent leur devoir en y envoyant quelques fonctionnaires complètement étrangers au pays et ne s'y plaisant pas. Le chemin de fer n'est même pas subventionné.

Nous quittâmes le bateau pour nous rendre sur le rivage à bord d'un canot à moteur. C'est une innovation. Autrefois, ils se servaient de chaloupes, dans lesquelles des Somalis nus ramaient, se querellaient, plaisantaient et de temps à autre sautaient dans l'eau comme des grenouilles. Sur le plat rivage, des maisons blanches étaient dispersées ça et là. Sur un rocher dominait le palais du gouverneur au milieu d'un jardin de cocotiers et bananiers. Nous laissâmes nos affaires à la douane et nous rendîmes à pied à l'hôtel.

Là, nous apprîmes que le train avec lequel nous devons nous rendre au fin fond du pays, partaient tous les mardis et samedis. Il nous fallait rester à Djibouti trois jours.

Je n'étais pas affligé par un tel retard, car j'aime cette petite ville, sa vie paisible et sereine. De midi à seize heures, les rues semblent devenir désertes ; toutes les portes sont fermées, et parfois un Somali, tel une mouche endormie, se traîne. À ces heures, il convient de dormir comme nous le faisons la nuit. Mais ensuite, on ne sait d'où surgissent des équipages, et même des automobiles, conduites par des Arabes portant des turbans bigarrés, des casques blancs d'Européens, et même des costumes clairs, pressés de rendre visite aux dames. Les terrasses des deux cafés se remplissent de monde.

Entre les tables marche un nain, un Arabe de vingt ans et d'une archine de hauteur, avec un minois d'enfant et une énorme tête épatée. Il ne demande rien, mais si on lui donne un morceau de sucre ou une menue monnaie, il remercie d'un air sérieux et poliment, avec une grâce orientale tout à fait particulière, élaborée un millénaire auparavant. Ensuite tous vont se promener. Au déclin du jour, les rues se remplissent d'une douce obscurité, dans laquelle se dessinent nettement des maisons construites dans un style arabe, avec des toits plats et des créneaux, des embrasures rondes et des portes en forme de trous de serrure, avec des terrasses, des arcades et autres fantaisies, le tout d'une blancheur éblouissante. Un de ces soirs semblables, nous fîmes un charmant voyage dans un jardin de campagne en compagnie de Monsieur Galeb, marchand grec et vice-consul russe, sa femme et Mozar-bej, le consul turc dont je parlai plus haut. Là-bas, il y a des étroits sentiers entre des platanes et des bananiers, on entend le bourdonnement des gros scarabées et l'air, comme dans une serre, est chaud et empli de parfums. Au fond des profonds puits en pierre brille légèrement l'eau.

Par-ci par-là on peut voir un mulet attaché ou un gentil zébu⁵. Quand nous en sortîmes, un vieil Arabe nous apporta un bouquet de fleurs et des grenades qui, hélas !, n'étaient pas mûres.

Ces trois jours à Djibouti passèrent vite. Le soir nous nous promenions, le jour nous foulions le bord de la mer en essayant en vain d'attraper ne serait-ce qu'un crabe (ils couraient étonnamment vite, de côté, et se tapissaient dans des trous à la moindre alerte), et le matin nous travaillions. Tous les matins, des Somalis de la tribu des Issas venaient me voir à l'hôtel, afin que je note leurs chansons. D'eux, j'appris que cette tribu avait un roi... Un Ugaas qui vit dans le village d'Haraoua se situant à trois cents kilomètres au sud-est de Djibouti ; qu'il se trouve dans une situation de constante animosité avec les Danakils du nord qui, hélas, arrivent toujours à les vaincre ; que Djibouti (selon le Somali Hamadou) est construite à la place de ce qui fut autrefois une oasis non peuplée et qu'à quelques journées de route de là se trouvent encore des gens qui adorent les pierres noires ; la plupart d'entre eux étant des musulmans croyants. Les Européens qui connaissent bien le pays m'avaient également raconté que cette tribu était considérée comme une des plus violentes et malignes de toute l'Afrique orientale. Ils attaquent en général la nuit et massacrent tout le monde, sans exception. Il ne faut pas se fier au guide de cette tribu.

Les Somalis manifestent un certain goût dans le choix des ornements pour leurs boucliers et leurs pots, dans la fabrication de colliers et bracelets, ils sont même des créateurs de mode parmi les tribus qui les entourent, mais sans inspiration poétique. Leurs chansons, dépourvues de sens, pauvres en images, ne sont rien en comparaison de la majestueuse simplicité des chansons abyssiniennes et du tendre lyrisme des Gallas. J'en citerai une d'amour en exemple, un texte dont la transcription russe est amenée en apposition.

5 Bovin qui produit près de 600 kg de lait par année

CHANSON

"Berriga, où la tribu d'Issa vit, Gourti, où la tribu de Gourgoura vit, Harar, qui est plus haut que la terre des Danakils, les gens de Galbet, qui n'abandonnent pas leur patrie, les gens de petite taille, le pays, où règne Isaak, le pays au delà de la rivière de Sellel', où règne Samarron, le pays, où au chef Darotou Gallasy on porte l'eau des puits de cette partie de la rivière d'Oueba, - tout le monde j'ai visité, mais Marian est plus beau que toute cela. Magana sois bénie. Reraoudal, où tu es plus modeste, il est plus beau et il est plus agréable par la couleur de la peau, que toutes les femmes arabes".

À vrai dire, tous les peuples primitifs aiment dans la poésie l'énumération des noms familiers, si on se rappelle quand même la liste homérique des navires, mais chez les Somalis ces énumérations sont froides et ne varient pas.

Trois jours passèrent. Le quatrième jour, alors qu'il faisait encore nuit, un domestique arabe, une bougie à la main, fit le tour des chambres de l'hôtel, réveillant ceux qui partaient à Dire Dawa. Encore endormis, mais contents de la fraîcheur matinale, si plaisante après l'insupportable chaleur de l'après-midi, nous nous rendîmes à la gare. Nos affaires avaient été emmenées par avance là-bas dans une charrette à bras. Le voyage en seconde classe, dans laquelle voyagent d'ordinaire tous les Européens, coûte 62 francs par personne, un peu cher pour dix heures de train mais il en est de même pour tous les chemins de fer coloniaux. La troisième classe est exclusivement destinée aux indigènes et la première, qui coûte deux fois plus cher alors qu'elle n'a rien de mieux que la seconde classe, accueille en général uniquement des membres de la légation diplomatique et quelques snobs allemands. Les locomotives sont bruyantes, et ont des noms rien moins que justifiés : l'Éléphant, le Buffle, Puissant, etc.

Déjà à quelques kilomètres de Djibouti, quand la montée commençait, nous avançons à une vitesse d'un mètre par minute, et deux Noirs allaient devant et sablaient les rails mouillés par la pluie.

Les paysages vus par la fenêtre étaient mélancoliques, mais pas dépourvus d'air majestueux. Le désert brun et rude, effrité, tout dans les fissures et les crevasses de la montagne, et puisque c'était la saison des pluies, des torrents troubles et des lacs entiers remplis d'eau sale. D'un arbuste sort en courant un dik-dik, une petite antilope abyssinienne, paire des chacals⁶. Ils se déplacent toujours en couple, et regardent avec curiosité. Des Somalis et Danakils, avec une immense chevelure ébouriffée, se tiennent debout, s'appuyant sur des lances. Les Européens étudient seulement une petite partie du pays, notamment celle par laquelle passe le chemin de fer, mais à droite et à gauche de ce dernier : c'est le mystère. Dans les petites stations des enfants noirs et nus, tendaient vers nous leurs petites menottes et mélancoliquement, comme une chanson, chantaient un mot populaire dans tout l'Est : argent (cadeau).

À quatorze heures, nous arrivâmes en gare d'Aïcha, à 160 kilomètres de Djibouti, c'est-à-dire à la moitié du chemin. Là-bas, un buffetier grec cuisine des petits-déjeuners passables pour les voyageurs. Ce Grec se trouve être un patriote, et en tant que Russes, il nous accueille à bras ouverts, nous installa aux meilleures places, fit le service lui-même, mais, hélas !, de ce même patriotisme il se conduit de manière extrêmement froide envers notre ami le consul turc. Il me fallut le prendre à part et lui faire une remontrance appropriée, ce qui se révéla très difficile, car à part le grec, il ne parlait que quelques mots d'abyssinien.

6 Les antilopes font partie des proies des chacals, il n'est pas rare de voir un chacal à proximité.

Après le petit-déjeuner, on nous fit savoir que le train n'irait pas plus loin, car la route était détremmée par les pluies, et les rails étaient suspendus en l'air. Quelqu'un s'avisa de s'énerver, comme si cela allait aider. La fin de la journée passa dans une accablante attente, seul le Grec ne cachait pas sa joie : on n'allait pas seulement prendre le petit-déjeuner chez lui, mais aussi le déjeuner. La nuit, chacun s'installa comme il put. Mon compagnon de voyage resta dormir dans le wagon, moi j'acceptai imprudemment l'invitation des conducteurs français à dormir dans leur logis, où il y avait un lit de libre, et jusqu'à minuit j'entendis leur bavardage ridicule sur leur travail. Au matin il fut reconnu que le chemin n'était pas seulement non réparé, mais qu'il fallait pour le moins 8 jours, pour avoir la possibilité d'avancer, et que ceux qui le désiraient pouvaient retourner à Djibouti. Tous le désiraient, à l'exception du consul turc et de nous deux. Nous restâmes car à la gare d'Aïcha la vie coûtait moins cher qu'en ville. Le consul turc, je pense, seulement par sentiment de camaraderie, d'autant plus que nous avions tous trois un vague espoir de nous rendre d'une quelconque manière à Dire Dawa avant 8 jours. L'après-midi nous partîmes en promenade ; nous gravâmes une colline peu élevée, couverte de petites pierres tranchantes qui ruinèrent pour toujours nos chaussures, nous poursuivîmes un grand lézard qui mordait, que nous attrapâmes finalement, et sans s'en apercevoir, nous nous éloignâmes d'environ 3 kilomètres de la gare. Le soleil déclinait ; nous étions déjà sur le chemin du retour quand soudain nous vîmes deux soldats abyssiniens de la gare courir vers nous en brandissant les armes. «Mydernou» (qu'y a-t-il?) demandai-je en voyant leurs visages inquiets. Ils expliquèrent que les Somalis dans cette contrée étaient très dangereux, qu'ils jetaient en embuscade leurs lances aux passants, en partie par espièglerie, en partie parce que selon leur coutume on ne pouvait se marier seulement après avoir tué une personne. Mais ils n'attaquaient jamais une personne armée. Ensuite on me confirma la véracité de ces récits, et je vis moi-même à Dire Dawa des enfants lancer en l'air un bracelet et le transpercer au vol avec une lance adroitement jetée. Nous retournâmes à la gare, escortés par les Abyssins qui examinaient avec méfiance chaque arbuste, chaque tas de pierres.

Le jour suivant arriva de Djibouti un train d'ingénieurs et manœuvres pour la réparation de la voie. Un coursier transportant le courrier pour l'Abyssinie arriva avec eux.

On savait déjà à ce moment-là que la voie était détériorée sur quatre-vingts kilomètres de longueur, mais que l'on pouvait essayer de les passer sur une draine. Après de longues altercations avec l'ingénieur en chef, nous prîmes deux draines : une pour nous, l'autre pour les bagages. Un achker (soldat abyssinien) s'installa avec nous pour nous protéger, ainsi que le coursier. Quinze Somalis de grande taille, criant de manière rythmique « eïdekhe, eïdekhe » - la génération russe des « bateliers », non politique mais ouvrière -, prirent par les manches les draines, et nous partîmes.

Effectivement, le chemin était difficile. Sur les ravines, les rails tremblaient et pliaient, et il fallait aller à pied par-ci par-là. Le soleil brûlait tant que nos mains et nos coudes se couvrirent des cloques en une demi-heure. De temps en temps, de fortes bourrasques nous envoyaient de la poussière. Les alentours étaient très riches en gibier. Nous vîmes à nouveau des chacals, des gazelles et même au bord d'un marais quelques marabouts, mais ils étaient trop loin. Un de nos achkers réussit à tuer une canepetière presque aussi grande qu'une petite autruche. Il était très fier de sa réussite.

Au bout de quelques heures nous rencontrâmes une locomotive et deux wagons plateformes apportant les matériaux pour la réparation de la voie. On nous invita à monter et durant une heure encore nous voyageâmes de manière primitive. Enfin, nous trouvâmes le wagon qui devait nous emmener à Dire Dawa au matin suivant. Nous dînâmes de la confiture d'ananas et un biscuit que nous trouvâmes par hasard et passâmes la nuit dans la gare.

Il faisait froid, le mugissement d'une hyène se faisait entendre. À huit heures du matin, devant nous dans un bosquet de mimosas, scintillaient çà et là les blanches maisonnettes de Dire Dawa.

Comment être un voyageur qui inscrit consciencieusement ses impressions dans son journal ? Comment avouer ce qui attire son attention en premier en entrant dans une nouvelle ville ? C'est les lits propres aux draps blancs, le petit déjeuner sur une table recouverte par une nappe, les livres et la possibilité d'un doux repos.

Je suis loin de nier le charme en partie fameux « des collines et des ruisseaux ». Le coucher du soleil dans le désert, le passage d'un cours d'eau débordant, les rêves d'une nuit passée sous les palmiers, resteront pour toujours parmi les plus bouleversants et les plus beaux moments de ma vie. Mais quand la vie quotidienne culturelle qui a eu le temps de devenir un conte de fée pour le voyageur se transforme instantanément en réalité, - que les amateurs urbains de la nature se moquent de moi -, c'est aussi très bien. Et avec reconnaissance je me rappelle ce gecko, un petit lézard complètement transparent, qui courait sur les murs de la chambre et qui, pendant que nous prenions le petit déjeuner, attrapait au-dessus de nous des moustiques et de temps en temps tournait vers nous son museau laid mais cocasse.

Il fallait rassembler une caravane. Je décidai de prendre des domestiques à Dire Dawa, et d'acheter des mulets à Harar, où ils coûtaient moins cher. Nous trouvâmes rapidement des domestiques : Khaïle, un Noir de la tribu Mangalia qui parlait mal, mais couramment français, fut pris en tant qu'interprète, un Harari, Abdoulaïe qui ne connaissait que quelques mots de français, par contre qui possédait un mulet, en tant que chef de caravane, et un couple de noirauds vagabonds aux pieds légers en tant qu'achkers.

Ensuite nous louâmes pour le lendemain des selles pour les mulets, et nous partîmes flâner en ville, l'âme en paix.

Dire Dawa avait bien grandi ces trois dernières années, tant que je ne voyais pas particulièrement sa partie européenne. Je me rappelle l'époque où elle n'avait que deux rues, à présent il y en avait une dizaine. Il y a des jardins remplis de fleurs, des cafés spacieux. Il y a même un consul français. Toute la ville est divisée en deux parties, de chaque côté du lit d'une rivière sèche, qui ne se remplit que par temps de pluie : la partie européenne est la plus proche de la gare, et la partie indigène n'est qu'un simple amoncellement désordonné de cases, de clôtures pour le bétail et de rares boutiques. Dans la partie européenne vivent des Français et des Grecs. Les Français sont les maîtres de la situation : soit ils travaillent sur le chemin de fer, où ils reçoivent un bon traitement, soit ils tiennent les hôtels les plus éclatants ou un grand commerce ; le chef de la poste est Français, et le docteur aussi. Ils sont respectés, mais n'aiment pas faire preuve de façon permanente de hauteur envers les races colorées. Tous les petits commerces de l'Abyssinie qui sont tenu par des Grecs et parfois par des Arméniens, les Abyssins les appellent « gric », et les séparent des autres Européens, « frendjeï ». Dans la société européenne, c'est-à-dire française, à part quelques exceptions ils ne sont pas acceptés, bien que certains d'entre eux soient aisés. Dans un petit café grec, qui se transforme le soir en véritable maison de jeu, j'ai vu des mises de quelques centaines de thalers, qui appartiennent à des loqueteux très suspects.

Dans la partie européenne de la ville, il n'y a ni voitures, ni lampadaires. Les rues sont éclairées par la lune et par les fenêtres des cafés.

Dans la partie indigène de la ville on peut flâner toute la journée sans s'ennuyer. Dans deux grandes boutiques qui appartiennent aux riches Hindous Djiovadji et Mohamet-Ali, on trouve des vêtements brodés de soie d'or, des sables courbés dans des fourreaux en maroquin, des dagues aux ciselures en argent et toutes sortes d'ornements orientaux qui sont une caresse pour les yeux. Tout cela est vendu par des importants Hindous corpulents, vêtus de chemises d'une blancheur éblouissante sous leurs sarreaux et des toques en soie en forme de crêpe. Des Arabes du Yémen, ainsi que des marchands, et principalement des commissionnaires traversent cette partie de la ville. Des Somalis, habiles dans différents ouvrages à la main, comme tresser des nattes à même le sol, fabriquent des sandales sur mesure. En passant devant les cases des Gallas, on sent l'odeur de l'encens, leur papier favori. Devant la maison du nagadras⁷ danakilien (à proprement parler, le chef des marchands, mais en réalité un simple chef important), sont suspendues des queues d'éléphants tués par ses achkers. Avant étaient suspendues des défenses, mais depuis que les Abyssins ont conquis le pays, les pauvres Danakils doivent se contenter des queues. Les Abyssins, fusils sur l'épaule, marchent sans occupation avec un air indépendant. Pour eux, conquérants, il est indécent de travailler. Et derrière la ville commencent les montagnes, dans lesquelles des troupeaux de babouins rongent les euphorbes et des oiseaux avec un immense nez rouge volent.

Pour être sûr de ses achkers, il était indispensable de les enregistrer et d'être leur garant chez le juge municipal. J'allai le voir et j'eus l'opportunité d'assister à un procès abyssinien. Sur la terrasse de la maison, donnant sur une cour assez vaste, était assis le chef du tribunal, un Abyssin bien bâti, les jambes repliées sous lui, et entouré soit d'adjoint soit tout simplement amis. À cinq pas devant lui était posé un rondin, que les plaideurs n'avaient pas le droit de franchir, même dans l'emportement de la défense ou de l'accusation.

7 Le percepteur des taxes commerciales

La cour était bondée d'achkers soit qui appartenaient au juge, soit tout simplement curieux. À mon entrée, le juge me salua poliment, ordonna de m'amener une chaise et, voyant que je m'intéressais aux procès, m'apporta lui-même quelques éclaircissements. De l'autre côté du rondin se tenaient un grand Abyssin avec un beau visage, mais déformé par la rage, et un Arabe trapu, un pied sur le bout de bois, rempli de triomphe dans l'attente d'une victoire proche. Le fait était que l'Abyssin avait pris un mulet à l'Arabe pour aller quelque part, et le mulet creva. L'Arabe réclamait le paiement, l'Abyssin affirmait que le mulet était malade. Ils parlaient chacun leur tour. L'Abyssin sauta par-dessus le rondin et tout en argumentant il montra directement du doigt le juge. L'Arabe prenait de belles poses, défrichait et croisait sa chamma⁸ (un manteau blanc que portent tous les habitants de l'Abyssinie), et en parlant, choisissait son expression et visiblement, se donnait de la peine pour la galerie. En effet, un sympathique rire amical accompagnait son discours. Même le juge hochait la tête en souriant et balbutia : « Ojiou gout » (« c'est drôle »). Enfin, quand les deux plaideurs jurèrent sur la mort de Ménélik (en Abyssinie on jure toujours sur la mort d'un empereur ou d'un haut dignitaire), en affirmant le contraire, l'enthousiasme devint général. Je n'attendis pas la fin, et après m'être inscrit auprès de l'achker, je partis, mais cela se voyait que l'Arabe allait gagner. Il est très difficile d'être en procès en Abyssinie. En général, c'est celui qui offre la meilleure offrande au juge, mais comment savoir combien l'adversaire a donné ? Trop donner aussi est désavantageux. Néanmoins, les Abyssins aiment les procès, et quasiment chaque querelle se finit par l'invitation traditionnelle au nom de Ménélik (bâ Ménélik II) à comparaître devant le tribunal.

L'après-midi il y eut une pluie torrentielle, si forte que le vent emporta le toit d'un hôtel grec qui, il est vrai, n'avait pas une construction particulièrement solide.

8 Toge traditionnelle éthiopienne

Le soir nous sortîmes faire un tour, et bien sûr, voir ce qu'il était arrivé à la rivière. Elle était méconnaissable, l'eau tourbillonnait comme dans un moulin. Particulièrement le bras devant nous, dans lequel se trouve une petite île, qui était extraordinairement en fureur. Des immenses vagues d'une eau complètement noire, enfin ce n'était même plus de l'eau mais de la terre et du sable levé du fond, volaient en roulant l'une par-dessus l'autre et en se heurtant contre le ressaut de la berge, rebroussaient chemin, montaient telles des colonnes et vrombissaient. Dans cette soirée silencieuse et mate, c'était un spectacle épouvantable mais magnifique. Sur la petite île, droit devant nous, se trouvait un grand arbre. À chaque coup, les vagues dévoilaient un peu plus ses racines, en l'éclaboussant d'écume. L'arbre tressaillait de toutes ses branches, mais il tenait bon. Il n'y avait presque plus de terre en-dessous de lui, et seulement deux ou trois (racines) le retenaient à sa place. Parmi les spectateurs, on faisait même des paris : allait-il tenir ou pas. Mais voilà qu'un autre arbre, arraché quelque part dans les montagnes par le torrent, s'abattit et, tel un bélier, le heurta. Un barrage momentané se forma, qui fut suffisant pour que les vagues s'en eussent pris de toutes leurs forces à l'arbre mourant. Au milieu des vrombissements de l'eau on entendit craquer la racine principale, et après avoir légèrement vacillé, l'arbre plongea d'un coup dans les remous avec tout son pannicule vert de branche. Les vagues l'emportèrent avec rage, et en un instant il était déjà loin. Et pendant que nous suivions la destruction de l'arbre, en serins que nous sommes, un enfant se noya dans le torrent, et toute la soirée nous entendîmes sa mère se lamenter.

Le lendemain nous nous rendîmes à Harar.

CHAPITRE TROISIEME

Les vingt premiers kilomètres du chemin qui mène à Harar passent par le lit de la rivière dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Ses bords sont assez verticaux, et à Dieu ne plaise d'y trouver un voyageur par temps de pluie. Heureusement, nous étions assurés contre ce danger, car l'intervalle entre deux pluies dures environ quarante heures. Et nous n'étions pas les seuls à profiter de cette opportunité. Sur le chemin marchaient une dizaine d'Abyssins, passaient des Danakils, des femmes gallas à la poitrine nue et pendante portaient à la ville des charges de bois et d'herbe. Des longues chaînes de chameaux, reliés entre eux par la gueule et la queue, comme si c'était des rangs d'amusants rosaires, faisaient peur à nos mulets en passant. À Dire Dawa, l'arrivée du gouverneur d'Harar Dejazmach⁹ Tafari était attendue, et nous croisions souvent des groupes d'Européens sur des beaux chevaux vifs qui partaient à sa rencontre.

Le chemin ressemblait au paradis sur les bons chromos russes : l'herbe d'une couleur verte peu naturelle, les branches trop larges des arbres, des grands oiseaux multicolores et des troupeaux des chèvres sur les pentes des montagnes. L'air doux, limpide et comme traversé par des grains d'or. L'odeur intense et suave des fleurs. Et seulement des personnes noires, comme des pêcheurs qui se promèneraient dans le paradis, d'après une légende pas encore inventée, étaient singulièrement discordants avec tout ce qui nous entourait.

Nous allions au trot, et nos achkers couraient devant, trouvant encore du temps pour folichonner et rire avec les femmes qui passaient.

9 Commandant de la force armée impériale éthiopienne, un des plus hauts grades militaires

Les Abyssins sont renommés pour leur rapidité, et ici en règle générale, le piéton devance toujours d'une grande distance le cavalier. Deux heures de route plus tard, la montée commença : un sentier étroit passant parfois directement dans la rigole serpentait presque verticalement sur la montagne. Des grosses pierres encombraient le chemin et il nous fallut descendre des mulets et aller à pied. C'était difficile, mais bon. Il faut monter en courant, éviter de s'arrêter et se balancer sur des pierres tranchantes : ainsi c'est moins fatigant. Le cœur bat et la respiration se coupe : comme quand on va à un rendez-vous galant. Par contre, il arrive d'être récompensé, comme avec un bisou, par une odeur fraîche et inattendue d'une fleur de montagne, une vue soudainement ouverte sur une vallée voilée. Et quand, enfin, le souffle à moitié coupé et à bout de forces, nous atteignîmes la cime, une eau extraordinairement calme brillait sous nos yeux depuis si longtemps, comme un bouclier d'argent : le lac de montagne d'Adel. Je regardai ma montre : la montée avait duré une heure et demie. Nous étions sur le plateau d'Harar. Le paysage changea profondément. À la place des mimosas verdoyaient des bananiers et des haies d'euphorbes ; à la place de l'herbe sauvage, des champs de sorgho commun¹⁰ soigneusement cultivés. Dans un hameau de Gallas, nous achetâmes des injeras (une sorte de grosse crêpe à base de teff¹¹ noir, qui remplace le pain en Abyssinie) et les mangeâmes, entourés d'enfants curieux, prêt à s'enfuir au moindre mouvement de notre part. D'ici à Harar il y avait un chemin direct, et par-ci par-là il y avait même des ponts jetés sur des profondes crevasses dans la terre. Nous passâmes le second lac d'Oromolo, deux fois plus grand que le premier, abattîmes un oiseau paludéen avec deux excroissances blanches sur la tête, épargnâmes un bel ibis et nous trouvâmes cinq heures plus tard devant Harar.

10 Plante d'origine africaine, 5ème céréale mondiale, cultivée soit pour ses graines, soit pour le fourrage

11 Plante cultivée comme céréale secondaire en Afrique

Déjà de la montagne d'Harar, il y avait une vue majestueuse avec des maisons de grès rouge, des hautes maisons européennes et minarets pointus des mosquées. La ville est entourée d'une muraille, et on ne laisse plus passer la porte après le coucher du soleil. Dedans c'est comme Bagdad au temps de Hâroun ar-Rachîd¹². Des rues étroites, qui montent et descendent par des escaliers, des lourdes portes en bois, des places pleines des gens en vêtement blanc qui braillent, un tribunal, ici même sur la place, tout cela est rempli du charme des vieux contes. Les petites escroqueries pratiquées en ville ont aussi un esprit antique. Au-devant de nous par une rue populeuse, marchait un garçon noir d'une dizaine d'années, un fusil sur l'épaule, qui avait tous les signes d'un esclave, et un Abyssin le suivait de près. Il ne nous laissa pas passer, mais puisque nous allions au pas, il ne nous était pas difficile de le dépasser. Voilà qu'un bel Harari se montra, visiblement pressé car il galopait. Il cria au garçon de s'écarter, celui-ci n'obéit pas et, touché par le mulet, il tomba sur le dos comme un soldat de bois, en gardant sur tout le visage la même gravité sereine. L'Abyssin qui le suivait de près se jeta sur l'Harari et, tel un chat, sauta derrière la selle. « Bâ Ménélik, tu as tué une personne ». L'Harari s'attristait déjà mais pendant ce temps le petit Noir, qui visiblement en avait marre d'être couché, se releva et commença à se secouer pour ôter la poussière. L'Abyssin réussit tout de même à arracher un thaler pour la mutilation que faillit subir son esclave.

Nous descendîmes à l'hôtel grec, le seul dans la ville, dans lequel le prix, pour une mauvaise chambre et une encore plus mauvaise table, est digne du Grand Hôtel parisien. Mais il était tout de même agréable de boire un rafraîchissant hydromel et de jouer une partie sur un échiquier gras et rongé.

¹² 5ème calife abbasside de Bagdad, dont l'image est idéalisée dans les contes de fée "Mille et une nuit"

À Harar, je rencontrai des connaissances. Un Maltais suspect de la caravane, un ancien banquier avec qui je m'étais mortellement brouillé à Addis-Abeba, vint me saluer le premier. Il m'avait imposé un mauvais mulet appartenant à un étranger avec l'intention de recevoir des commissions. Il me proposa de jouer au poker, mais je connaissais déjà sa façon de jouer. Enfin, avec des grimaces de singe il me conseilla d'envoyer au Dejazmach une caisse de champagne, pour ensuite le devancer et vanter son savoir-faire. Comme aucun de ses efforts ne fut couronné de succès, il perdit tout intérêt envers moi. Mais j'envoyai moi-même chercher une autre connaissance d'Addis-Abeba, un petit copte âgé et propre, directeur de l'école locale. Porté sur le philosophisme, comme la plupart de ses compatriotes, il exprimait parfois des idées intéressantes, racontait des histoires amusantes, et toute sa conception du monde produisait une impression d'un équilibre bon et stable. Avec lui, nous jouions au poker et nous visitâmes son école, dans laquelle de petits Abyssins des meilleurs noms dans la ville faisaient des exercices d'arithmétique en français. À Harar, à nos côtés se trouvait même un compatriote : un Arménien ressortissant russe, Artiom lokhanjan, qui avait vécu à Paris, en Amérique, en Égypte et qui vivait depuis près de vingt ans en Abyssinie. Sur ses cartes de visite, il figurait en tant que docteur en médecine, docteur en sciences, négociant, commissionnaire et ancien membre de la Cour, mais quand on lui demandait comment il avait obtenu autant de titres, sa réponse était un vague sourire et des plaintes contre un mauvais temps.

Celui qui pense qu'il était facile d'acheter des mulets en Abyssinie se trompe énormément. Il n'y a pas de marchands spéciaux, pas de foire de mulets non plus. Les achkers vont de maison en maison en se renseignant s'il y a des mulets à vendre. Vers l'hôtel se trouvent des mulets alignés, parfois très bons mais cependant follement chers.

Quand cette vague diminue, une autre commence : ils amènent des mulets malades, couverts de blessures, avec une patte cassée, dans l'espoir qu'un Blanc ne s'y connaisse pas en mulet, et seulement ensuite ils commencent à amener un à un les bons mulets et au juste prix. De cette manière, en trois jours nous avons eu la chance d'en acheter quatre. Notre Abdoulaïe nous fut d'une grande aide, malgré le fait qu'il prenait les pots-de-vin des vendeurs, il s'efforçait dans notre intérêt. Par contre la bassesse du traducteur Khaïle s'était complètement révélée ces jours-là. Non seulement il ne cherchait pas de mulets, mais de plus, il me sembla qu'il clignait de l'œil avec le maître de l'hôtel pour nous retenir plus longtemps sur place. Je le laissai ici à Harar.

On me conseilla de chercher un autre interprète dans la mission catholique. Je me rendis là-bas avec lokhanjan. Nous entrâmes par une porte entrouverte et nous retrouvâmes dans une grande cour irréfutablement propre. Au fond sur les hauts murs blancs nous saluèrent des capucins calmes au froc marron. Rien ne rappelait l'Abyssinie, on aurait dit que nous étions à Toulouse ou à Arles. D'une pièce simplement rangée sortit en courant vers nous le monseigneur-même, évêque des Gallas, un Français d'une cinquantaine d'années avec des yeux grands ouverts, comme s'il était étonné. Il était parfaitement aimable et agréable à entendre, mais les années passées au milieu des sauvages, en rapport avec l'ingénuité monastique, se faisaient sentir. Il s'étonnait trop facilement, comme une lycéenne de dix-sept ans, il se réjouissait et se chagrinait à tout ce que nous disions. Il connaissait un interprète, qui était le Galla Paul, un ancien élève de la mission, un très bon garçon, qu'il enverrait chez moi. Nous prîmes congé et revînmes à l'hôtel, et deux heures après Paul arriva. C'était un grand garçon avec un rustaud visage de paysan, il fumait volontiers, et buvait encore plus volontiers et en même temps il paraissait endormi, il avançait mollement, comme une mouche d'hiver. Nous ne convînmes pas du prix avec lui. Après, à Dire Dawa, je pris Félix, un autre élève de la mission.

D'après une totale confirmation de tous les Européens qui le voyaient, il avait un tel air qu'on aurait dit qu'il était pris de nausée ; quand il montait les escaliers, on voulait presque le tenir, et cependant il était tout à fait sain, et d'après les missionnaires c'était aussi un très brave garçon¹³. Ils rendent la vivacité naturelle et l'intelligence en échange de douteuses valeurs morales.

Le soir nous nous rendîmes au théâtre. Un jour, à Dire Dawa, le Dejazmach Tafari avait vu les spectacles d'une troupe indienne en tournée et il les avait tellement admirés qu'il avait décidé coûte que coûte de livrer le même spectacle à sa femme. Les Indiens se rendirent à Harar à ses frais, obtinrent d'être logé gratuitement et s'habituaient parfaitement. C'était le premier théâtre en Abyssinie, et il eut un immense succès. Nous trouvâmes difficilement deux places au premier rang ; il fallut pour cela mettre à part sur des chaises supplémentaires deux Arabes respectables. Le théâtre se trouvait être tout bonnement un théâtre forain : un toit bas en fer, des murs écrus, un sol de terre, - tout cela était, peut-être même trop, pauvre. La pièce était compliquée, un roi indien dans un costume pseudo-populairement pompeux se passionnait pour une belle concubine et négligeait non seulement son épouse légale et son fils, un jeune et beau prince, mais aussi les affaires du gouvernement. L'indienne Phèdre¹⁴, la concubine, tenta de séduire le prince et par désespoir après son échec, le diffama au roi. Le prince fut banni, et le roi passait tout son temps dans des ivrogneries et des jouissances sensuelles. Les ennemis attaquèrent, il ne se défendit pas malgré les accords des fidèles combattants, et il chercha le salut dans la fuite. La ville eut alors un nouveau roi. Par hasard, durant la chasse, il sauva des mains des brigands la femme légale de l'ancien roi, qui avait suivi son fils dans le bannissement.

13 En français dans le texte.

14 Dans la mythologie grecque, fille du roi Minos et femme de Thésée qui brûlait d'amour pour son beau-fils Hippolyte; rejetée par lui, elle se suicida

Il voulait se marier avec elle, mais alors celle-ci refusait, il fut donc d'accord pour se comporter envers elle comme envers sa propre mère. Le nouveau roi avait une fille qui devait se choisir un fiancé, et pour cela on rassembla au palais tous les princes des alentours. Celui qui pourrait tirer avec un arc ensorcelé serait l'élu. Le prince banni, en habits de mendiant, se joignit aussi à la compétition. Bien entendu, seul lui put bander l'arc, et tous étaient ravis après avoir appris qu'il avait du sang royal. Le roi lui donna la main de sa fille ainsi que le trône, et l'ancien roi qui regrettait son erreur revînt et renonça lui aussi à ses droits de régner.

Le seul truc de metteur en scène était que quand se baissait le rideau qui représentait une rue d'une grande ville orientale, devant lui les acteurs, déguisés en citadins, jouaient des petits gags amusants, qui avaient un rapport à peine éloigné avec l'action générale de la pièce.

Les décors, hélas !, étaient d'un très mauvais style européen, avec des prétentions de joliesse et de réalisme. Le plus intéressant était que tous les rôles étaient joués par des hommes. Ce qui n'en était pas moins étrange, cela ne nuisait pas à l'effet, mais l'intensifiait d'autant plus. Il en résultait une agréable uniformité des voix et des mouvements qui se rencontraient rarement dans nos théâtres. L'acteur qui jouait la concubine était particulièrement bon : peau blanchie, maquillé, avec un beau profil bohémien, il manifesta tant de passion et de grâce féline dans la scène de la séduction du roi que les spectateurs furent sincèrement émus. Les Arabes qui remplissaient le théâtre regardaient, avec des yeux particulièrement avides.

Nous retournâmes à Dire Dawa, prîmes nos bagages et des nouveaux achkers et trois jours plus tard nous étions déjà sur le chemin du retour. Nous passâmes la nuit au milieu d'une montée et c'était notre première nuit sous la tente. Sous elle n'entrèrent que nos deux lits et entre eux, comme table de nuit, deux valises de type élaboré Grum-Grzhimailo¹⁵. La lanterne qui ne brûlait pas encore diffusait une puanteur. Nous dînâmes de Kitoï (de la farine mélangée à de l'eau et frite dans une poêle, la nourriture habituelle lors des voyages) et du riz cuit que nous mangeâmes d'abord avec du sel, puis avec du sucre. Au matin, nous nous levâmes à six heures et avançâmes.

On nous informa que notre ami le consul turc se trouvait dans un hôtel à deux heures de Harar et qu'il attendait que les autorités d'Harar soient officiellement informées de son arrivée à Addis-Abeba. Un envoyé allemand faisait les démarches pour cela à Addis-Abeba. Nous décidâmes de nous rendre à cet hôtel, après avoir fait partir la caravane.

Malgré le fait que le consul n'était pas encore entré en fonction dans ses obligations, il recevait déjà de nombreux musulmans qui voyaient en lui le gouverneur général du sultan et qui souhaitaient déjà le saluer. Selon la coutume orientale, ils venaient tous avec des cadeaux. Les Turcs, qui étaient horticulteurs, apportaient des légumes et des fruits, et les Arabes des moutons et des poules. Les chefs des tribus semi-indépendantes somaliennes envoyaient demander ce qu'il désirait : un lion, un éléphant, un troupeau de chevaux ou des dizaines de peaux d'autruche ôtées ensemble avec toutes leurs plumes. Et seuls les Syriens, habillés en veston et se faisant passer pour des Européens, venaient avec un air impertinent et les mains vides.

15 G. E. Grumm-Grzhimaylo (1860–1936) - géographe et zoologiste

Nous restâmes près d'une heure avec le consul, et à notre retour à Harar nous apprîmes une triste nouvelle : nos fusils et cartouches étaient retenus à la douane municipale. Le lendemain matin, notre connaissance arménienne, un marchand des alentours d'Harar, passa nous prendre pour aller ensemble à la rencontre du consul qui avait enfin reçu les papiers nécessaires et pouvait faire son entrée solennelle à Harar. Mon compagnon de voyage était trop fatigué de la veille, et j'allai seul. Le chemin avait un air de fête. Des Arabes aux vêtements blancs et colorés étaient assis sur des rochers en prenant des poses révérencieuses. Çà et là des achkers envoyés par le gouverneur allaient et venaient pour faire une escorte honorable et instaurer l'ordre. Des Blancs, c'est-à-dire des Grecs, des Arméniens, des Syriens et des Turcs, qui se connaissaient tous, sautaient entre les groupes, en bavardant et en s'échangeant des cigarettes. Les paysans Gallas qu'ils croisaient se tenaient à l'écart avec effarement en voyant une telle cérémonie.

J'ai, il me semble, oublié de préciser que le consul était un consul général, assez majestueux dans son habit richement brodé d'or, une bande verte vive sur l'épaule et un fez¹⁶ rouge vif. Il montait un grand cheval blanc choisi parmi les plus tranquilles (il n'était pas bon cavalier), deux achkers le prirent par la bride, et nous nous mêmes en route pour Harar. J'eus la place à droite du consul, à sa gauche allait Kalil Galeb, le représentant locale de la maison de commerce Galebov. Devant couraient des achkers de gouverneur, derrière allaient des Européens, et derrière ces derniers couraient des fidèles musulmans et différentes personnes désœuvrées. En tout, il y avait jusqu'à six cents personnes. Les Grecs et Arméniens qui allaient derrière nous nous pressaient impitoyablement, chacun s'efforçant de montrer sa proximité envers le consul. Une fois même son cheval s'avisa de ruer, ceci n'arrêtait pas les ambitieux. Un grand trouble fut produit par un chien qui s'était avisé de courir et d'aboyer dans cette foule. Il fut chassé, battu, et accepta le tout...

¹⁶ Coiffure en laine portée dans certains pays musulmans.

Je m'écartai du cortège car le culeron¹⁷ de ma selle s'était déchiré, et avec mes deux achkers je retournai à l'hôtel. Le lendemain, en accord avec une invitation d'abord reçue puis confirmée, nous passâmes de l'hôtel au consulat turc.

Pour voyager en Abyssinie, il est nécessaire d'avoir un laissez-passer du gouvernement. Je télégraphiai à ce propos au chargé des affaires russes à Addis-Abeba et reçus en réponse que l'ordre de me donner un laissez-passer avait été envoyé au chef des douanes d'Harar, le nagadras Bistrati. Mais le nagadras m'annonça qu'il ne pouvait rien faire sans la permission du chef Dejazmach Tafari. Il fallut se rendre chez le Dejazmach avec un cadeau. Quand nous étions chez le Dejazmach, deux Noirs robustes apportèrent et mirent à ses pieds la boîte de vermouth que j'avais acheté. Cela avait été fait sur le conseil de Kalil Galeb, qui nous présenta. Le palais du Dejazmach, une grande maison en bois avec un étage et une véranda peinte, donnant sur une cour intérieure assez sale, rappelait une datcha pas très bien entretenue, quelque part à Pargolose ou Tsrnok. Dans la cour se baladaient deux dizaine d'achkers qui se tenaient d'une manière désinvolte. Nous montâmes l'escalier et après un moment d'attente dans la véranda, nous entrâmes dans une grande pièce couverte de tapis, où il y avait pour tous meubles quelques chaises et un fauteuil de velours pour le Dejazmach. Le Dejazmach se leva lorsque nous arrivâmes et nous serra la main. Il était habillé d'un chamma, comme tous les Abyssins, mais d'après son visage fuselé, bordé d'une barbiche noire bouclée, ses grands yeux de biches remplis de dignité et sa façon de se tenir, on pouvait deviner un prince en lui. Et ce n'était pas étonnant : il était fils du Ras¹⁸ Mekonnen, cousin et ami de l'empereur Ménélik, et tenait son origine directement du roi Salomon et de la reine de Saba.

17 Partie de la croupière qui porte la queue du cheval.

18 Un des plus hauts titres à la cour impériale et dans les provinces

Nous lui demandâmes le laissez-passer, mais malgré le cadeau, il répondit que sans ordre d'Addis-Abeba il ne pouvait rien faire. Malheureusement, nous ne pouvions nous procurer une attestation du nagradas qui disait que l'ordre était reçu, car le nagradas était parti chercher un mulet qui avait disparu avec un courrier d'Europe sur le chemin entre Dire Dawa et Harar. Alors nous demandâmes au Dejazmach la permission de le photographier, qu'il accepta aussitôt. Quelques jours plus tard nous revînmes avec l'appareil photographique. Les achkers avaient étendu des tapis directement dans la cour, et nous prîmes une photographie du Dejazmach dans ses vêtements de gala bleus. Puis ce fut le tour de la princesse, sa femme.

Elle est la sœur de Lij Yassou, l'héritier au trône, et par conséquent la petite-fille de Ménélik. Elle a vingt-deux ans, trois ans de plus que son mari et les traits de son visage sont très agréables, malgré un embonpoint qui a déjà abîmé sa taille. D'ailleurs, il me semble qu'elle se trouvait dans une position intéressante. Le Dejazmach manifestait envers elle la plus touchante attention. Il la fit asseoir dans une pose nécessaire, arrangea sa robe et nous demanda de la prendre plusieurs fois pour réussir à coups sûrs. Il s'est révélé qu'il parle français, mais seulement il est gêné, non sans raison, et trouve qu'en tant que prince, il est indécent de faire des erreurs. Nous prîmes la princesse avec ses deux filles-servantes.

Nous envoyâmes un nouveau télégramme à Addis-Abeba, et nous nous mîmes à travailler à Harar. Mon compagnon de voyage commença à recueillir des insectes dans les alentours de la ville. Je l'accompagnais une fois sur deux. C'est une occupation étonnamment apaisante pour l'âme : flâner sur les sentiers blancs entre les champs de café, gravier des rochers, descendre vers la rivière et trouver partout des minuscules bonhommes, rouges, bleus, verts et d'or.

Mon compagnon de voyage en recueillait jusqu'à une cinquantaine par jour, tout en évitant de prendre des identiques. Mon travail était d'un tout autre genre : je rassemblais des collections ethnographiques, j'arrêtais sans gêne les passants pour regarder ce qu'ils portaient, j'entrais sans permission dans les maisons et je passais en revue leurs ustensiles, je perdais la tête en essayant d'obtenir des renseignements sur la fonction d'un objet chez des Hararis qui ne comprenaient pas mon comportement. Ils se moquaient de moi quand j'achetais un vieux vêtement, une marchande maudit quand je m'avisai de la photocopier, et certains refusaient de me vendre ce que je demandais en pensant qu'il me le fallait pour de la sorcellerie. Pour obtenir un objet sacré ici, un turban que portent les Hararis qui arrivent à la Mecque, j'ai dû passer toute la journée à manger des feuilles de khat (une substance narcotique consommée par les musulmans) de son possesseur, un vieux cheikh fou. Et dans la maison de la mère cavos auprès du consulat turc, je fouillai moi-même dans le panier puant pour les friperies et j'y trouvai beaucoup de choses intéressantes. Cette chasse aux objets était extraordinairement fascinante : devant mes yeux se dressait peu à peu le tableau de la vie d'un peuple entier et toute mon impatience d'en voir encore plus grandissait. Après avoir acheté un renvideur, je me vis dans l'obligation d'apprendre le métier de tisserand. Après s'être procuré les ustensiles, des échantillons de nourriture étaient nécessaires. Au total, je me procurai près de soixante-dix pièces uniquement d'objets d'Harar, en évitant d'en acheter des arabes ou des abyssiniennes. Cependant tout a une fin. Nous jugeâmes avoir étudié Harar autant que nos forces nous l'avaient permis, et puisque nous ne pouvions recevoir le laissez-passer que sous huit jours, sans bagages, c'est-à-dire seulement avec un mulet chargé et trois achkers, nous partîmes pour Djidjiga dans la tribu somalienne Gabarizal. Mais je me permettrai de raconter ceci dans un des chapitres suivants.

CHAPITRE QUATRIEME

Harar fut fondée il y a environ neuf cents ans par des musulmans originaires de la province du Tigré fuyant les persécutions religieuses et se mêlant aux arabes. La ville est située sur un plateau pas très grand mais extraordinairement fertile, et est limitrophe au nord et à l'ouest du désert Danakil, à l'est de la terre de Somalie et au sud de la haute région boisée Meta ; en tout, elle s'étend sur quatre-vingt kilomètres carrés. En somme, les Hararis vivent seulement dans la ville et vont travailler dans les jardins, où poussent le café et le khat (l'arbre aux feuilles enivrantes), l'espace restant avec les pâturages et les champs de sorgho commun et de maïs est toujours occupé depuis le XVI^{ème} siècle par des Gallas et leurs chats, c'est-à-dire des agriculteurs. Harar était un état indépendant jusqu'à ... Cette année-là, dans la bataille de Chelenqo à Gerger, le négus Ménélik battit à plate couture le négus d'Harar Abdoullah et le fit lui-même prisonnier, et Abdoullah mourut peu après. Son fils vit sous la surveillance du gouvernement d'Abyssinie, s'appelle nominalement le négus d'Harar et touche une généreuse pension. Je l'ai vu à Addis-Abeba : c'était un bel et fort Arabe avec un air important sur le visage et dans ses mouvements, mais avec un peu de terreur dans ses yeux. D'ailleurs, il n'exprimait aucune intention de récupérer le trône. Après sa victoire, Ménélik confia la gestion d'Harar à son cousin le Ras Mekonnen, un des plus hauts hommes d'État de l'Abyssinie. Ce dernier, grâce à des guerres victorieuses, réussit à étendre les limites de la province à toutes les terres danakiliennes et sur une grande partie de la Corne de l'Afrique. Après sa mort, son fils Dejzmach Ylma prit la gestion, mais celui-ci mourut un an plus tard. Ensuite Dejzmach Balcha Safo. C'était une personne forte et sévère. Jusqu'au jour d'aujourd'hui on parle encore de lui dans la ville, les uns avec indignation, les autres avec un profond respect.

Quand il arriva à Harar, il y avait tout un quartier de femmes de joie, et ses soldats commencèrent à se quereller à cause d'elles, et ils en vinrent même au meurtre. Balcha Safo ordonna de les réunir sur la place et les vendit aux enchères publiques (comme des esclaves), après avoir posé aux acheteurs la condition qu'ils doivent surveiller le comportement de leurs nouvelles esclaves. Si on remarquait que l'une d'entre elles exerçait son ancienne profession, alors elle serait soumise à la peine de mort, et le complice de son crime devrait payer dix thalers. À présent Harar n'est même pas la ville la plus chaste du monde, puisque les Hararis, qui n'ont pas compris le prince comme il se devait, avait propagé en elle l'adultère. Quand la correspondance européenne disparut, Balcha Safo ordonna de pendre tous les habitants de cette maison, dans laquelle fut trouvé un sac vide, et quatorze cadavres se balancèrent longtemps aux arbres le long du chemin entre Dire Dawa et Harar. Il refusait de payer la capitation au négus, affirmant que de ce côté de l'Awash, c'était lui le négus, et proposa de le destituer du gouvernement ; il savait qu'ils faisaient cas de lui comme le seul fin stratège en Abyssinie. À présent il est gouverneur dans la région éloignée de Sidamo et il se comporte là-bas de la même manière qu'à Harar.

Au contraire, le Dejazmach Tafari est mou, indécis et frileux. L'ordre est maintenu par le vice-gouverneur Fitawrari¹⁹ Gabre, un dignitaire de l'école de Balcha Safo. Celui-ci distribue volontiers par vingt ou trente des girafes, c'est-à-dire des coups de fouet en peau de girafe, et parfois même fait pendre, mais c'est très rare.

¹⁹ Commandant de l'avant-garde, équivalent d'un baron.

Les Européens, Abyssins et Gallas, qui s'entendent parfaitement, détestent les Hararis. Les Européens pour leur lâcheté et leur vénalité, les Abyssins pour leur paresse et leur faiblesse, la haine des Gallas qui est le résultat de plusieurs siècles de guerre à la même nuance mystique. « Au fils des anges ne portant pas de chemise, il ne faut pas entrer dans les maisons de Hararis noirs », est chanté dans leur chansonnette, et en général ils suivent ce précepte. Tout ceci ne me semble pas totalement légitime. En effet, les Hararis ont hérité des plus repoussantes qualités de la famille sémitique, mais pas plus que les Arabes du Caire ou d'Alexandrie, et malheureusement pour eux, ils doivent vivre parmi des chevaliers abyssiniens, des Gallas travailleurs et des nobles Arabes du Yémen. Ils lisent beaucoup, connaissent parfaitement le Coran et la littérature arabe, mais ne se distinguent pas par une piété particulière. Leur principal Saint est Cheikh Aboukir, arrivé deux cents ans plus tôt d'Arabie et enterré à Harar. On lui consacre de nombreux platanes dans la ville et aux alentours, que l'on appelle aouli. Les musulmans locaux appellent aouli tout ce qui avait la force de réaliser un miracle à la gloire d'Allah. Il y a des aoulis morts et vivants, des arbres et des objets. Ainsi, sur un marché à Ginir, on refusa longtemps de me vendre un parapluie d'un travailleur indigène, en disant que c'était un aouli. D'ailleurs, les plus instruits savent qu'un objet inanimé ne peut pas être lui-même sacré et que l'esprit de tel ou tel saint, installé dans l'objet, réalise les miracles.

Николай Степанович Гумилёв

Несмотря на то, что Николай Степанович Гумилёв не всемирно известный поэт, как Александр Сергеевич Пушкин или другие, за свою короткую жизнь, он внес неотъемлемый вклад в русскую литературу в эпоху Символизма и был основателем Акмеизма.

Николай Степанович родился 3 (15) апреля 1886 году в городе Кронштадте в дворянской семье, его отец, Степан Яковлевич Гумилёв, был врачом на флоте. Николай Степанович был слабым ребёнком часто болел, который не переносил шума из-за чего у него регулярно были сильные мигрени. Вместо того, чтобы играть с другими детьми, которыми он пытался постоянно управлять, он предпочитал проводить время в одиночестве или с животными. Его интересовали больше путешествия и экспедиции, военные походы и подвиги, чем игры. Даже свой первый сборник стихов он назвал «Путь конквистадоров» (1905). В возрасте шести лет, он написал свое первое четверостишие о Ниагаре.

Так как его отец работал на флоте, они часто переезжали. Детские годы Гумилёв провёл в Царском Селе, там в 1896 году поступил в Царскосельскую гимназию, директором которой был крупный поэт русского символизма Иннокентий Фёдорович Анненский. Николай Гумилёв был плохим студентом, и однажды его почти не исключили из гимназии, но Иннокентий Анненский настоял на том, чтобы его оставили. Еще в отрочестве в нём заметили предрасположенность к зоологии и географии. Он заканчивает свою учёбу к двадцати годам в 1906-ом году и начал действительно писать стихи. В этот период он уехал в Париж и много путешествовал, а именно по Франции и Италии. В 1908-ом году был опубликован первый сборник "Романтические цветы". На деньги

вырученные с публикации и который давали родители для учёбы пока он учился в Сорбонне, он предпринял свою первую поездку по Африке.

1 — Когда повседневная жизнь становится поэзией ...

Стихи и рассказы Гумилёва совпадают в мельчайших деталях с его жизнью. Николай Степанович Гумилёв - поэт о далёких поездках, и особенно об Африке. Африка покорила его, влюбила в себя навсегда. В стихах и рассказах об этом континенте видны черты поэтического мира Гумилёва: влечение к романтической экзотике и ярким декоративным краскам. Реки, озёра, животный мир, рельеф, саванны Африки он увидел глазами человека восторженного, влюбленного, глазами поэта. Когда читаем его рассказ "Африканский дневник", можно совершить яркое, незабываемое путешествие, словно бы своими глазами видим этот необыкновенный континент.

1.1 Первая поездка по Африке

Самая первая поездка Гумилёва на черном континенте была в 1907-ом году. Он об этом мечтал с детства, но его отец не хотел финансировать такую поездку, из-за того, что это было опасно в ту эпоху. Тогда Николай Степанович сэкономил и сумел накопить достаточно деньги и в возрасте двадцати одного года совершил первую поездку в Африку. До этой поездки, он сделал предложение выйти за него замуж Анне Горенко, будущей поэтессе Анне Ахматовой, но она отказалась, то, что подтолкнуло Николая Степановича к решению уехать в Африку. Об этой поездке немного информации, только знаем, что Гумилёв был очень рад. Будучи предусмотрительным человеком, до отъезда он заранее написал несколько писем для своих родителей и попросил друзей в России им

посылать одно письмо каждые десять дней. Небольшая поездка, спонтанная и неожиданная, стала началом страсти поэта к Африке и большой любви к исследовательской деятельности.

1.2 Вторая поездка по Африке

В 1909-ом году Гумилёв получил согласие Анны Ахматовой, после чего снова отправился в Африку для экспедиции, организованной академиком Радловым. В течение этой экспедиции он пересек пустыню, стал жертвой агрессии местных населений (согласно обычаю многих племен, мужчина, чтобы получить право жениться должен убить человека), преодолел многочисленные опасности и трудности. Он возвратился в Россию в феврале 1910-ого года, выпускал сборник стихов «Жемчуга» (1910), а впечатления от поездки позже послужат основой для поэмы «Мик» и «Абиссинских песен» (1912).

2 — Николай Гумилёв, поэт с двумя большими любовьюми.

2.1 Его брак с Анной Ахматовой ...

25 апреля 1910-ого года они с Анной Ахматовой поженились. В начале брака Николай Гумилёв и Анна Ахматова были счастливы, они ездили в свадебное путешествие в Париж. В ту эпоху он много публиковал, именно сборник «Жемчуга», в который как одна из частей были включены «Романтические цветы». В «Жемчуге» входит поэма «Капитаны», одно из известнейших произведений Николая Гумилёва. Он также помогал жене, чтобы она была признанной поэтессой.

2.2 ... менее силен, чем его страсть к Африке.

К сожалению вопреки его воле Гумилёв был влюблённым в Африку.

Немного времени позже, он почувствовал потребность уехать снова в Африку. Но в этот раз, в качестве реального исследователя: он изучал местный фольклор и атрибуты повседневной жизни, изучал обычаи и традиции, посещал дома, расспрашивал о неизвестных ему предметах, записывал обычаи местных народов, снимал фотографии, охотился на диких зверей ... Когда он возвратился в марте 1911-ого года в Россию, он был болен, у него была тропическая лихорадка. Из-за его плохого состояния здоровья врач не советовал больше возвращаться в Африку. Но известно, что Гумилёв был чрезмерно упрямым человеком.

2.3 Появление нового художественного течения

В 1911-ом году Николай Гумилёв заявил о появлении нового художественного течения — Акмеизма, а был основан Николаем Гумилёвым с женой Анной Ахматовой и другом Сергеем Городецким, «Цех поэтов», в который, кроме их трёх, входили Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Кузьмина-Караваева, Зенкевич и другие. На смену переживающему кризис символизму идёт направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений. Эстетика акмеизма противится символизму тогда, властвующему в русской поэзии. Акмеисты требуют использование простого и конкретного языка, чтобы нести в его апогей поэтический размер повседневного. Они критикуют оккультизм и религиозный аспект символизма и отклоняют его стремление по сведениям скрытой правды и загробной жизни.

3 — Последняя поездка по Африке

Однако Гумилёва не смог удовлетворить своё желание отправиться ещё раз в Африку. В течение одного с половиной года, он писал стихи и

свои впечатления о предыдущих поездках по Африке и думал о планах новой экспедиции. В 1912-ом году Николай Степанович Гумилёв по рекомендации профессора Ж. предоставляет свои работы по Африке Академии Наук. Он хотел снова отправиться, чтобы пересечь пустыню между Абиссинией и Красным морем, изучить местные племена, которые можно было попытаться объединить и цивилизовать. Он предлагал эту исследовательскую поездку Академии Наук, но в том году академики ему отказали по причине, что это будет дорого стоит.

3.1 «Африканский дневник»

В апреле 1913-ого года Николай Степанович и его племянник Николай Сверчков были посланы по официальной миссии за счёт Академии Наук. Переведенный рассказ на предыдущую главу моей работе, описывает приключения Гумилёва и племянника в Абиссинии. Гумилёв пишет: *«Я должен был отправиться в порт Джибути оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг, в область между Сомалийским полуостровом и озёрами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно большой район исследования».* («Африканский дневник», глава первая). Но не всё описано. Например, Гумилёв не упоминает факт, что там он решил проверить свою греховность : по абиссинской традиции он должен был обнажённым пролезть в узкую щель между двумя камнями. Если испытуемый застревал, то умирал в страшных мучениях – никто не смел помочь ему выбраться и даже дать воды или хлеба. У камней лежало множество костей, видимо, грешников было много. Гумилёв рискнул – и благополучно вернулся.

В сентябре того же года они возвратились в Россию. В Музее антропологии и этнографии в Санкт Петербурге, где и хранятся до сир пор у нас есть возможность увидеть собранные коллекции предметов и фотографий. И даже он написал несколько строк в поэме «Абиссиния»,

чтобы рассказать об этом музее:

*...Есть Музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его...*

*Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез...*

(«Абиссиния», 1921)

Для Гумилёва эта поездка была последней в Африку. Действительно, он хотел организовать ещё другие, чтобы исследовать хотя бы часть этого огромного неизученного континента, но в 1914-ом году началась Первая Мировая Война, то, что сорвало его планы. Он ушёл на фронт, порой его безрассудная храбрость принесла ему два Георгиевских креста и офицерское звание. Окончательный крест на исследовании Африки поставила революция.

3.2 Арест и гибель поэта

Николай Степанович полностью отдался литературе, редакции стихов и прозы и акмеизму. Но всё закончилось в 1921-ом году. 3 августа его арестовали по обвинению в участии в заговоре Таганцева и Петроградской боевой организации. В конце месяца, он так же как шестьдесят других людей был расстрелян, но точная дата и место остаются до настоящего времени неизвестными.

До сих пор Николай Степанович Гумилёв остаётся одним из более важных исследователей Африки. Он хотел доказать себе, что он достойный и настоящий мужчина, и если бы не была бы война и всего того, что последовало, он вероятно обнаружил бы многие другие культуры и племена и даже возможно изменил историю некоторых стран.

Исследование перевода

Требуется много трудов реализовать перевод. Именно литературные переводы, потому что, переводчик должен хранить не только мысль оригинального произведения, а также стиль автора, то есть он не может забыть слов и сохранить мысль; « *Операция, которой тема осознает смысл послания, теряя сознание слов и фраз, которые его подкрепили*²⁰ ». Действительно, литературный переводчик должен обладать склонностями в стилистике, хорошим воображением и обширными культурными знаниями. Идёт речь о том, чтобы воспроизводить единый результат оригинального текста у читателя на оригинальный язык, так же как смысл слов. Перевод должен быть также приятным читать, и вызвать те же волнения как оригинал, а это не является маленьким делом. Переводчик должен по возможности, сохранять слова автора переведенного текста, а так же его стиль словаря.

Чтобы осуществлять такую работу, следует использовать точные способы переводов, известные переводчиками, и таким образом избегать противоположных направлений, смысловых ошибок, несоблюдения, добавлений, превращений в идеологическую нацелившуюся, объяснения в дидактической цели, приближения за неимением лучшего. Даже если непереводимое - дело, с которым надо случайно составить, то, что предполагает более или менее счастливые урегулирования, надо тем не менее в каждый момент оставаться внимательным в содержании оригинального текста из уважения к автору, его язык, его культура, и из уважения к читателю.

²⁰ *La traduction: mode d'emploi, Glossaire analytique*, J. DEMANUELLI & C. DEMANUELLI, page 51

1 — Географические названия

Прежде всего, надо было осуществить интенсивных исследования восточной Африки и особенно Абиссинии. Например названия городов. Названия на русский язык не всегда соответствовали названию на французском языке. Чтобы помогать, следовательно следует брать карту восточной Африки, на этом проводя маршрут поездки Николая Степановича Гумилёва, по мере первых чтений текста, а так же записывать имена на русском языке и их возможной транскрипции на французском языке.

1.1 Реки, озёра и горы

Таким образом, понимаем, что «река Гаваш», о которой Гумилёв рассказал в первой главе, называется на французский язык «*rivière Awash*», «озёра Рудольфа, Маргариты, Звай» - на французский язык «*lacs Rudolf, Margherita et Haïk*». Это кажется связным для обоих первых случаев, однако надо было больше искать, чтобы найти последнее озеро, так как нет никакого отношения между озером Звай и *lac Haïk*. Чтобы находить это французское название, было необходимо взять две карты восточной Африки, более точно Эфиопии, одну на русском языке, другую на французском языке, и их сравнить.

Надо было поступить таким же образом для нескольких географических мест. Но в конце концов, эти исследования не были столь сложны, сравнительно с теми, осуществленными, чтобы найти французский эквивалент некоторых городов.

1.2 Города

Наверно наиболее сложные исследования, чтобы реализовать.

Однако, взяв мои карты, задачей перевода названия городов восточной Африки не должна была бы быть столь трудной. Проблема была, чтобы бывает много возможных стилей для каждого из городов, и некоторых городов нет на картах.

Хорошо, что нет много названий городов, упомянутых в рассказе Николая Гумилёва, и есть толтко некоторые, как Харар («*Haran*») довольно-таки связанные между русским названием и французским. Так же обстоит дело и с другими городами, таких как Порт-Саид («*Port-Saïd*»), Смирна («*Smyrna*»), Одесса («*Odessa*»).

Взамен, два города, которые более всего было проблематично перевести - следующие: Четалдже и Скутари. Действительно, на первый взгляд, эти названия городов для нас ничего не означают. Четалдже - наиболее большой муниципалитет Стамбула, и его французское название - *Çatalca*. Затем, Скутари - город Албании, где имели место несколько восстаний против Османов, именно в 1876-ом, 1880-ом, 1910-ом, 1911-ом и 1912-ом году. На французском языке, этот город называется *Shkodër*.

2 — Имена собственные и титулы

2.1 Имена собственные

Перевод имен собственных - всегда деликатное дело. Действительно, у некоторых русских имен, или наименее письменного на кириллице, есть эквивалент на французском языке или на латинском алфавите. Между тем, это не, потому что у некоторых имен собственных есть эквивалент, что надо автоматически его использовать. Например, даже если для именем автора Николая Гумилёва, эквивалентное

французское имя было бы логично *Nicolas Goumiliov*, но здесь его использование не приспособлено. То есть оно подняло бы часть личности автора. Вот почему во Франций пишем *Nicolaï Goumilev*.

Относительно султан Магомет, этот - известен во Франции под именем «*Mehmet II*», информации, проверенной благодаря нескольким исследованиям. А Абдулайе, чей французский эквивалент является «*Abdoulaïe*», или Мохамет-Али, который становится на французский язык «*Mohamed-Ali*». Также, Гарун-аль-Рашид, который — халиф из династии Аббасидов, известен под именем «*Hâroun Ar-Rachîd*». Наконец, Федра, которая в греческой мифологии — дочь царя Миноса и жена Тезея. На французский язык, её имя в греческой мифологии - «*Phèdre*».

Иногда, французское имя длиннее, чем русское имя. Например Бальча, после нескольких исследований мы нашли на французский язык «*Balcha Safo*». Простое имя на русском языке, но составное на французском языке. Для других имен, не было французских эквивалентов, вот почему мы выбрали транскрипцию от русского языка на французский язык. Это в случае, как для имен Галев («*Galeb*») и Мозар-бей («*Mozar-bej*»).

Царь Соломон и царица Савска (на французский язык «*le roi Salomon et la reine de Saba* »). Хотя их имена нам не были неизвестны благодаря своей истории мифической любви, напротив легенда менее известна. Они - учредители Эфиопии. Царица Савска пришла в Иерусалим, чтобы задать Царю Соломону загадки. Ответив с бесконечной мудростью, Царь Соломон сделал её предложение вступить в брак. Вначале она отказалась, но он обещал, что у него ничего не спросил бы, пока она ничего не брала в его дворце. Одажды после ужина она выпила воду реки во дворце. Тогда царь Соломон ей напомнил её обещание. Она

спала с ним и шесть месяцев спустя решила возвратиться в свою страну. Во время отправления, Соломон дал кольцо царице и ей сказал: *«Возьми это для того, чтобы меня не забыть, и чтобы это было знак, если когда-нибудь у меня будет потомство от тебя. Если это - мальчик, позволь ему приходить мне»*. Царица Савска ушла, немного времен позже родился мальчика, Менелик, который был первым царем Эфиопии и основал Соломонову династию.

2.2 Титулы

В Африке, всегда бывали многочисленные титулы, иногда различные согласно племенам.

Гуссейн, который на французский язык означает *«Ugaas»*, или *«Ogas»*, можно писать по-разному, это название царя в племени «Исса» (*«Issas»*). В этом племени, гуссейн — выбран в юности после многочисленных испытаний, он — избранник, посланник Бога и именно он руководит племенем. Ещё сегодня бывает гуссейн, в настоящее время девятнадцатый гуссейн был избран, в возрасте шестнадцати лет. В общем они царят очень долго, от юности до их смерти. В эпоху Гумилёва был семнадцатый гуссейн.

Ашкер (*«Achker»* на французский язык) — имя, которое носит абиссинский солдат. Это действительно не является важным титул, но это - рекуррентный военное название в рассказе. Нагадрас (*«Nagadras»* на французский язык), описан в тексте как *«собственно говоря, начальник купцов, но в действительности - просто важный начальник»*. В самом деле нагадрас — финансовый инспектор коммерческих пошлин в городе.

Другой рекуррентный титул - дедъязмаг. На французский язык это

название выражается «*Dejazmach*», который означает слово в слово «командующий или генерал Двери». Он — командующий войском у дверей императорского шатра, одно из высших воинских званий. Иногда он приравнивает к титулу графа. В тексте, название дедьязмаг использовано для Тафари, который впоследствии будет известен под названием Рас Тафари, «*Ras Tafari*» («голова») затем Негус Тафари, «*Négus Tafari*» («король») и наконец Ныгусэ нэгэст Тафари, «*Négusä nägäst Tafari*» («царь царей»). Он был последним императором Эфиопии.

У всех племенах есть разные титулы. Особенность эфиопских титулы, это то, что они - часто написаны по-разному, на французском языке, так и на русский язык. То, что, следовательно, оставляет большую возможность перевода. Таким образом, эти иногда длинные энциклопедические исследования и изучение этих туземных племен дают этому литературному рассказу много богатства и отличия, качества, которые должны просвечиваться в переводе. Переводчик умеет, следовательно, для роли «входя в духе» от автора, чтобы пытаться хватать все ухищрения оригинального текста, их понимать в глубине, их присваивать себе, и в конце концов им вновь переписывать с таким же мыслями и важностью, не удаляясь тем не менее от оригинального текста.

Общее заключение

По-моему, реализация этого перевода и этого исследования перевода представило очень обогащающую и новую работу. Текст, который я выбрала, представлял некоторые затруднения (разнообразие имен и титулы, русский язык начала двадцатого века...), но это - также из-за этого оригинальный и очень интересный текст. Поскольку он никогда не был переведен, несмотря на то, что уже почти век как Николай Гумилёв его написал.

Перевод потребовал исследовательского труда, усилия понимания некоторых отрывков текста, и внимательное повторное чтение. Я никогда не предпринимала такой длинный перевод, и я должна признать, что переводить «Африканский дневник» был любимым труд для этой дипломной работы. Я обнаружила, что было нужно много терпения, воображения и, главным образом, желания, чтобы делать такую работу. Не забывая стиль для того, чтобы мочь перевести как нельзя лучше оригинальный текст. Действительно, Николай Гумилёв не рассказывал о своих рассказах, он их рисовал, словно были бы картины. В каждой из его фраз можно представиться сцену, Данакильскую пустыню, Суэцкий канал... Надо быть владеть богатым словарем на оригинальном языке, чтобы найти наиболее соответствующее слово.

Всегда трудно быть полностью довольным переводом, так как эта отличается от других переводов с того же оригинального текста и может появиться другой, который будет лучше. Между тем, если читатель переведенного текста сумеет ощутить послание автора и его точку зрения, если у него ясно появляется основа текста и если его впечатления подобны впечатлениям читателя оригинального текста, тогда, переводчик

выполнил свою задачу.

С другой стороны, у каждого текста есть его собственные особенности, которым переводчик должен подчиниться. Здесь, речь шла о литературном рассказе, который требовал энциклопедических исследований и усилия составления, чтобы сохранять стиль Николая Гумилёва.

Исследование перевода, которое также было новым упражнением для меня, было, по-моему, очень освещающим. Оно мне позволило разделять мои затруднения перевода, что я сознательно ориентировала на именах собственных на восточную Африку, а не на затруднениях общего перевода. Я хотела делать новую работу над ещё никогда не переведенным текстом, показать, чтобы языки не достаточны, чтобы перевести и чтобы деятельность перевода сложнее, чем многие верят и только, оно предполагает много исследований. Идёт речь не только о том, чтобы быть чувствительной к обеим заинтересованным культурам, а также мочь передать то же послание, имея в голове указанную публику и принять стиль, который одновременно уважает автора оригинального текста, а также читателя перевода.

Лично, я много научилась благодаря этой дипломной работы. Сначала, я обнаружила места и выражения, которые оставались неизвестным до сих пор для меня: несколько месяцев тому назад я даже не знала что была Абиссиния. Я поняла, что прежде всего перевод был трудом исследования и понимания, и в конце концов повторного переписывания, а этот последний этап находится под влиянием двух предыдущих. Перевод - следовательно очень сложная деятельность, которая конечно требует лингвистических знаний но, главным образом, большого любопытства, терпения, отличия, настойчивости и скромности.

Цель состоит в том, чтобы никогда не занимать место автора, а напротив, сохранять его роль «медиатор», умея остаться невидимой. Поэтому переводчик должен чувствовать себя близким к обеим заинтересованным культурам, и адаптировать свою работу в зависимости от указанной публики, языкового уровня и причастности автора.

Даже если у редакции этой дипломной работы не было строго профессиональной цели, дело реализации длинного перевода в литературной области, сможет возможно мне послужить когда-нибудь.

Библиография

Французские произведения :

ETKIND, E et al. *Histoire de la littérature russe, tome 4 : Le XXe siècle – L'Âge d'argent*. ed Fayard, 1987, p. 436, 494 – 497, 512 – 533, 645.

ETKIND, E et al. *Histoire de la littérature russe, tome 5 : Le XXe siècle, la Révolution et les années 20*. ed Fayard, 1998, p. 204, 215.

GOUMILEV, N. et FAUCHEREAU, S. *Poèmes*. ed. Du Murmure, 2003.

Русские произведения :

ГУМИЛЁВ, Н.С. *Африканская охота*. изд. Азбука-Классика, 2011, с. 100 — 135.

ГАК, В.Г. и ГРИГОРЬЕВ, Б.Б. *Теорика и практика перевода : Французский язык*. изд. Либроком, 2009.

Французские сайты :

DORESSE J., «Haïlé ou Haïlié Sélassié Ier (1892-1975) », *Encyclopédie Universalis*. Consulté le 4 mai 2012.

<<http://www.universalis.fr/encyclopedie/haile-haile-selassie-ier/>>

PESLIER J. et DOSSE M., « Au (re)commencement du texte : est-ce traduire, est-ce commenter? », *Acta Fabula*, Février 2008 (Volume 9, numéro 2). Consulté le 12 Avril 2012.

<<http://www.fabula.org/revue/document3874.php>>

MAHLER S., « La reine de Saba », *Blog de François-Xavier de Villemagne*. Consulté le 13 Avril 2012.

<http://www.villemagne.net/site_fr/jerusalem-reine-de-saba.php>

TOMASELLI R., « Mehmet le Conquérant », *Istanbul guide*, 2004. Consulté le 13 Avril 2012.

<<http://www.istanbulguide.net/istguide/people/connus/mehmet.htm>>

« L'Ethiopien aristocratique et les titres de cour », *Wikitranslation*. Consulté le 02 Avril 2012.

<http://fr.wikitranslation.com/en/L'Ethiopien_aristocratique_et_les_titres_de_cou#cite_note-Ethiopia-Military-Tradition-in-National-Life-0>

Английские сайты :

SACHE I., « Shkodra (Town, Albania) », Avril 2006. Consulté le 12 Avril 2012.
<<http://www.crwflags.com/fotw/flags/al-shko.html>>

Африканский дневник

Н. С. Гумилёв

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собрании мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивавшем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта -- добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это -- Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений -- в России их не меньше, чем где бы то ни было, -- совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше Министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути²¹ в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции.

21 Государство на северо-востоке Африки, одноименная столица

Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике И. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы па всевозможные лишения и опасности.

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия,

7-го апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе.

Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфический одесский говор, с измененными удареньями, с неверным употребленьем падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты.

Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведующий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое.

Несомненно, в Одессе много безукоризненно-порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена -- Порт-Саид, Смирна, Одесса.

10-го апреля на пароходе Добровольного флота "Тамбов" мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром -- Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее.

Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно -- русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать.

Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были закрыты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар.

По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин как в "Тысяче и одной ночи", мы прошли в Айя-Софию. На окружающем ее тенистом дворе играли полуголые дети, несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание.

Против обыкновения не было видно ни одного европейца.

Мы откинули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутемный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенах еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошел патриарх со святыми дарами при появлении турок. От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход.

Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочел "Отче наш" в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше.

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, -- заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу--волны песка, пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камин. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале умирят и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы.

Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры--это морское свечение. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джиддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джидды, окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи, мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы.

Пока агент компании приготавливал разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожиданье.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу.

Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лощманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая копнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилием тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилие, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Поилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдаленных бухтах позор невольного предательства. А этот верный до конца подсакивал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и всячески высказывал свое безутешное отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы выварить зубы, остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белых и зубчатых зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандеб, мы остановились у Джибути.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значение, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основания говорят, что его "съела" Джибути. За Джибути—будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста.

Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза: воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости. Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее. Железная дорога даже не субсидирована.

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля.

Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе полны народом.

Между столов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахара или мелкую монету, он благодарит серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетиями восточной грацией. Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями -- все в ослепительно белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе m-ге Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и Мозар-бея, турецкого консула, о котором я говорил выше. Там узкие тропки между платанами и банановыми широколистными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода.

То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу²². Когда мы выходили, старик араб принес нам букет цветов и гранат, увы, неспелых.

22 Крупный рогатый скот; среднегодовой удой -- около 600 кг молока

Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба, они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы, утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля... Гуссейна, который живет в деревне Харауа, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хамаду) построено на месте не населенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся черным камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам из этого племени довериться нельзя.

Сомалийцы обнаруживают известный вкус в выборе орнаментов для своих щитов и кувшинов, в выделке ожерелий и браслетов, они даже являются творцами моды среди окружающих племен, но в поэтическом вдохновении им отказано. Их песни, нескладные по замыслу, бедные образами, ничто по сравнению с величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских. Я приведу для примера одну, любовную, текст которой в русской транскрипции приведен в приложении.

ПЕСНЯ

"Беррига, где живет племя Исса, Гурти, где живет племя Гургура, Харар, который выше земли данакилей, люди Галь-бет, которые не покидают своей родины, низкорослые люди, страна, где царит Исаак, страна по ту сторону реки Селлель, где царит Самаррон, страна, где вождю Дароту Галласы носят воду из колодцев с той стороны реки Уэба, -- весь мир я обошел, но прекраснее всего этого, Мариан. Магана, будь благословенна. Рераудаль, где ты скромнее, красивее и приятнее цветом кожи, чем все арабские женщины".

Правда, все первобытные народы любят в поэзии перечисление знакомых названий, вспомним хотя бы гомеровский перечень кораблей, но у сомалийцев эти перечисления холодны и не разнообразны.

Три дня прошли. На четвертый, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и несколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и т. д.

Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакилы с громадной всклоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее--тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 километрах от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек prepares очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятьями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-абиссински.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь, и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости: у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился, как мог, Мои спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении, где была свободная кровать, и до полночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двух. Мы остались потому, что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества, кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше, чем в 8 дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отделились километра на 3 от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. "Мындерну" (в чем дело?), спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер. везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая "ейдехе, ейдехе" -- род русской "дубинушки", не политической, а рабочей, -- взяли за ручки дрезин, и мы отправились.

Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной почти с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей.

Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции.

Было холодно, слышался рев гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа.

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его внимание? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха.

Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть "пригорков и ручейков". Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенную под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность -- пусть смеются надо мной городские любители природы -- это тоже прекрасно. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Хараре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг, как ашкеры.

Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу.

Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не видел, особенно ее европейская часть. Я помню- время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десятков. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую ближе к вокзалу и туземную, т. е. просто беспорядочное нагромождение хижин, загоронок для скота и редких лавок. В европейской части живут французы и греки. Французы -- господа положения: они или служат на железной дороге, где получают хорошее жалование, или содержат лучшие отели и ведут крупную торговлю; начальник почты -- француз, доктор -- тоже. Их уважают, но не любят за постоянно проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков и изредка армян вся мелкая торговля Абиссинии, Абиссинцы называют их "грик" и отделяют от прочих европейцев, "френджей". В европейское, т.е. во французское, общество они за немногими исключениями не приняты, хотя многие из них зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращается в настоящий игорный дом, я видел ставки по несколько сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам.

В европейской части города нет ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещаются луной и окнами кафе.

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, готовят по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности-- просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами.

Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. На террасе дома, выходящей на довольно обширный двор, сидел, поджав под себя ноги, статный абиссинец, главный судья, окруженный помощниками и просто друзьями. Шагах в пяти перед ним на земле лежало бревно, за которое не должны были переступить тяжущиеся даже в пылу защиты или обвинения.

Двор был полон ашкерами, принадлежащими судье, и просто любопытными. Когда я вошел, судья вежливо приветствовал меня, велел подать стул и, заметив, что я интересуюсь тяжбой, сам дал несколько разъяснений. По ту сторону бревна стоял высокий абиссинец с красивым, но искаженным злобою лицом, и приземистый, одна нога на деревяшке, араб, весь полный торжеством в ожидании близкой победы. Дело состояло в том, что абиссинец взял у араба мула, чтобы куда-то проехать, и мул издох. Араб требовал уплаты, абиссинец доказывал, что мул был больной. Говорили по очереди. Абиссинец перепрыгивал через бревно и в такт своим аргументам тыкал пальцем прямо в лицо судье. Араб принимал красивые позы, распахивал и запахивал свою шамму (белая мантия, общая для всех обитателей Абиссинии) и, говоря, выбирал выраженья и, видимо, старался для галерки. Действительно, дружный сочувственный смех сопровождал его выступленья. Даже судья с улыбкой покачивал головой и бормотал: "Ойю гут" ("это удивительно"). Наконец, когда оба тяжущиеся поклялись смертью Менелика (в Абиссинии всегда клянутся смертью императора или кого-нибудь из высших сановников), утверждая противное, восторг сделался общим. Я не дождался конца и, записав ашкеров, ушел, но видно было, что победит араб. Судиться в Абиссинии -- очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд.

Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки.

Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что случилось с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корпя удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и, как тараном, ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рева воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зеленой метелкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновение оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, чиже нас по течению утонул ребенок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать.

Наутро мы отправились в Харар.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дорога в Харар пролегает первые километры двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе. Ее края довольно отвесны, и не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов. И не мы одни воспользовались удобным случаем. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакилы, галласские женщины с отвислой голой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов. Ожидали приезда в Дире-Дауа харарского губернатора дедьязмага²³ Тафари, и мы часто встречали группы выехавших встретить его европейцев на хорошеньких резвых лошадках.

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами.

23 Командующий войском у дверей императорского шатра, одно из высших воинских званий

Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устает сердце и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И зато бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможенные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит: горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харарском плоскогорий. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы--старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили инджиры (род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб) и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Хараром.

Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида²⁴. Узкие улицы, которые то поднимаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, -- все это полно прелести старых сказок. Мелкие мошенничества, проделываемые в городе, тоже совсем в древнем духе. Навстречу нам по многолюдной улице шел с ружьем на плече мальчишка--негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно было объехать его. Вот показался красивый харарит, очевидно, торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как деревянный солдатик, сохраняя на лице все ту же спокойную серьезность. Следивший из-за угла абиссинец бросился за хараритом и, как кошка, вскочил позади седла. "Ба Менелик, ты убил человека". Харарит уже приуныл, но в это время негритенок, которому, очевидно, надоело лежать, встал и стал отряхивать с себя пыль. Абиссинцу все-таки удалось сорвать талер за увечье, чуть-чуть не нанесенное его рабу.

Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel'a. Но все-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызенные шахматы.

²⁴ Халиф из династии Аббасидов, чей образ идеализирован в сказках "Тысяча и одна ночь"

В Хараре я встретил знакомых. Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришел приветствовать меня. Он навязывал мне чье-то чужое скверного мула, намереваясь получить комиссионные. Предложил сыграть в покер, но я уже знал его манеру игры. Наконец, с обезьяньими ужимками посоветовал послать дедьязмагу ящик с шампанским, чтобы потом забежать перед ним и похвастаться своей распорядительностью. Когда же ни одно из его стараний не увенчалось успехом, он потерял ко мне всякий интерес. Но я сам послал искать другого моего аддис-абебского знакомого -- маленького чистенького пожилого копта, директора местной школы. Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и все его мирозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесья. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке. В Хараре у нас оказался даже соотечественник, русский подданный армянин Артем Иоханжан, живший в Париже, в Америке, в Египте и около двадцати лет живущий в Абиссинии- На визитных карточках он значится как доктор медицины, доктор наук, негодант, комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивают, как получил он столько званий, ответ--неопределенная улыбка и жалобы на дурные времена.

Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. К отелю тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих.

Когда эта волна спадет, начинается друга: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить хороших мулов и за настоящую цену. Таким образом, в три дня нам посчастливилось купить четырех. Много помог нам наш Абдулайе, который хотя и брал взятки с продавцов, но все же очень старался в нашу пользу. Зато низость переводчика Хайле выяснилась за эти дни вполне. Он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнулся с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там. Я его отпустил тут же в Хараре.

Другого переводчика мне посоветовали искать в католической миссии. Я отправился туда с Иоханжаном. Мы вошли в полуотворенную дверь и очутились на большом безукоризненно чистом дворе. На фоне высоких белых стен с нами раскланивались тихие капуцины в коричневых рясах. Ничто не напоминало Абиссинии, казалось, что мы в Тулузе или в Арле. В просто убранной комнате к нам выбежал, именно выбежал, сам монсеньер, епископ галласский, француз лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивленными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей, в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Он как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Он знал одного переводчика, это галлас Поль, бывший воспитанник миссии, очень хороший мальчик, он его ко мне пришлет. Мы попрощались и вернулись в отель, куда через два часа пришел и Поль. Рослый парень с грубоватым крестьянским лицом, он охотно курил, еще охотнее пил и в то же время смотрел сонно, двигался вяло, словно зимняя муха. С ним мы не сошлись в цене. После, в Дире-Дауа, я взял другого воспитанника миссии, Феликса.

По общему утверждению всех видевших его европейцев, он имел такой вид, точно его начинает тошнить; когда он поднимался по лестнице, хотелось почти поддержать его, и однако он был совершенно здоров, и тоже un tres brave garçon²⁵, как находили миссионеры. Мне сказали, что все воспитанники католических миссий таковы. Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств.

Вечером мы отправились в театр. Дедъязмаг Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашенные стены, земляной пол--все это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным принцем сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра²⁶, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клеветает на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном.

25 Очень смелый мальчик

26 Дочь царя Миноса, жена Тезея, восплававшая любовью к пасынку Ипполиту; отвергнутая им, покончила с собой

Он хочет жениться на ней, но когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красоту и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актер, игравший наложницу: набеленный, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорались глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеро́в и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати и между них, как ночной столик, два поставленные один на другой чемоданы типа выработанного Грумм-Гржимайло²⁷. Еще не обгоревший фонарь распространял зловонье. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковороде, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше.

Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харара и ожидает, чтобы харарские власти были официально извещены о его прибытии в Аддис-Абебу. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперед.

Несмотря на то, что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы--баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племен присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками.

27 Грумм-Гржимайло Г. Е. (1860--1936) -- географ и зоолог.

Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почетного конвоя и водворения порядка. Белые, т. е. греки, армяне, сирийцы и турки--все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество.

Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смиренных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли ее под уздцы, и мы тронулись обратно в Харар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный празднующийся люд. В общем, было человек до шестисот. Греки и армяне, ехавшие сзади, напирали на нас нещадно, каждый стараясь показать свою близость к консулу. Один раз даже его лошадь вздумала бить задом, но и это не останавливало честолюбцев. Большое замешательство произвела какая-то собака, которая вздумала бегать и лаять в этой толпе. Ее гнали, били, но она все принималась за свое.

Я отделился от шествия, потому что у моего седла оборвался подхвостник, и со своими двумя ашкерами вернулся в отель. На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтвержденному приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство.

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас²⁸ объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмага Тафари. К дедьязмагу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмага, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмага, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящий во внутренний, довольно грязный двор, поминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголосе или Тсрноках. На дворе толклось десятка два ашкеро, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмага. Дедьязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса²⁹ Маконнсна, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской.

Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказанья из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харар. Тогда мы просили дедьязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой.

28 Сборщик торговых пошлин

29 Один из высших титулов при императорском дворе и в провинциях

Она сестра Лидж Иясу, наследника престола, и следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьзмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основания находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Хараре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев -- красных, синих, зеленых и золотых.

Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимающих, к чему все это, хараритов. Надо мной насмеялись, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет--чалму, которую носят харариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто хараритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджигу к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Харар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре, бежавшими от религиозных преследований, и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской пустыней, с востока -- с землей Сомали, а с юга--с высокой и лесистой областью Мета; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно харариты живут только в городе и выходят работать в сады, где растет кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса еще в XVI веке занято галласами, коту, т. е. земледельцами. Харар был независимым государством до... В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил харарского негуса Абдуллаха и взял его самого в плен, где тот вскоре и умер. Его сын живет под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивый полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Хараром своему двоюродному брату расу Маконнуну, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть Сомалийского полуострова. После его смерти Хараром управлял его сын дедзаг Ильма, но через год он умер. Потом дедзаг Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нем до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением.

Когда он прибыл в Харяр, там был целый квартал веселых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга (как рабынь), поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник ее преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харариты, не поняв, как следует, принца, распространили его даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Хараром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус -- он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдаленной области Сидамо и ведет себя там так же, как в Хараре.

Дедязмаг Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором Фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздает по двадцать, тридцать жирафов, т. е. ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко.

И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. "Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует входить в дома черных хараритов"--поется в их песенке, и обыкновенно они исполняют этот завет. Все это мне кажется не совсем справедливым. Харариты действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходилось жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой - шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Хараре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулия. Аулия здешние мусульмане называют все обладавшее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулия покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулия. Впрочем, более образованные знают, что неодушевленный предмет не может быть священным сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете.

Ce mémoire est une traduction d'un récit de Nicolaï Stepanovitch Goumilev, intitulé « *Африканский дневник* » (traduit « Le journal africain »). Nicolaï Stepanovitch Goumilev l'a écrit au cours de son troisième voyage en Afrique de l'Est, en Abyssinie. C'est une œuvre qui n'a encore jamais été traduite, et qui a demandé un véritable travail de recherche, puisque l'auteur fait référence à de nombreux lieux géographiques ou noms de peuples qui ne sont pas réellement connus à notre époque et en Europe.

Эта дипломная работа - перевод рассказа Николая Степановича Гумилева, которая называется "Африканский дневник" (переведенный " Le journal africain "). Николай Степанович Гумилев ее написал в течение своей третьей поездки в восточной Африке, в Абиссинии. Именно произведение еще никогда не было переведено, и оно потребовало настоящего исследовательского труда, так как автор ссылается на многочисленные географические места или имена народов, которые в нашу эпоху и в Европе действительно не известны.

Mots clés : russe, traduction, Nicolaï S. Goumilev, Afrique de l'Est, Abyssinie.



Déclaration anti-plagiat
Document à scanner après signature
et à intégrer au mémoire électronique

DECLARATION

1. Ce travail est le fruit d'un travail personnel et constitue un document original.
2. Je sais que prétendre être l'auteur d'un travail écrit par une autre personne est une pratique sévèrement sanctionnée par la loi.
3. Personne d'autre que moi n'a le droit de faire valoir ce travail, en totalité ou en partie, comme le sien.
4. Les propos repris mot à mot à d'autres auteurs figurent entre guillemets (citations).
5. Les écrits sur lesquels je m'appuie dans ce mémoire sont systématiquement référencés selon un système de renvoi bibliographique clair et précis.

NOM : Bovio PRENOM : Alexandra
DATE : 18/09/2012 SIGNATURE :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandra Bovio'.

Mise à jour avril 2012